

[Polaris]

ТЕНЬ



ЗА ОКОПОМ

Мистическо – агитационная фантастика
Первой мировой войны

Том II

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

ССХV



Salamandra P.V.V.

ТЕНЬ ЗА ОКОПОМ

Мистическо-агитационная фантастика
Первой мировой войны

Том II

Составитель
М. Фоменко

Salamandra P.V.V.

Тень за окопом: Мистическо-агитационная фантастика Первой мировой войны. Сост. и прим. М. Фоменко. Том II. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 125 с., илл. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. ССХV).

«Тень за окопом» – второй том уникальной антологии мистическо-агитационной фантастики эпохи Первой мировой войны. Подавляющее большинство произведений, относящейся к этой забытой и неисследованной ветви фантастической литературы, переиздается впервые. Читатель найдет здесь истории о роковых предчувствиях, таинственных замках, призраках на поле боя, чудесном спасении и возмездии, написанные как безымянными пропагандистами, так и известными литераторами.

© М. Fomenko, подг. текста, состав, примечания 2017

© М. Fomenko, перевод, 2017

© Salamandra P.V.V., оформление, 2017

**ТЕНЬ ЗА
ОКОПОМ**

Александр Грин

СПОКОЙНАЯ ДУША

СПОКОЙНАЯ ДУША.

Рассказ А. С. Грина.

Дух вечера, неторопливо овладев солнцем, прикрыл его низкими, воспламененными облаками, но солнце, временами пробивая слои красных паров, еще с час полосовало равнину приникшим к траве светом. Когда это кончилось, нерешительно блеснули первые звезды. Выразительный, жесткий стук выстрелов, разрывающий, не смолкая, тишину природы, напоминал треск огромного кузнечика страны Бробдиньягов.

В траншее, в черном цвете разрытой земли тускло-зеленый цвет защитных рубах выделялся уже не так резко, зато огни папирос стали заметны; наступал мрак.

Солдат Неборский присел отдохнуть.

— Ну как, — страшно? — спросил его молодой унтер из вольноопределяющихся, и сел рядом.

Неборский был на позиции всего второй день.

— Сказать вам правду? — ответил он, закуривая, неторопливо гася спичку и расправляя усы. — Хотите верить, хотите — не верить. Не страшно совсем, и не было страшно, да и не будет.

— Как так? — возразил унтер. — Вы нервный, это по лицу видно, а жутко бывает всем.

— Обстоятельства так сложились, что меня не могут убить, — заявил, подумав, Неборский, и в красивом, бородатом его лице мелькнуло добродушно-лукавое выражение.

Унтер пожал плечами.

— Я, конечно, не хочу, чтобы вас убили... Пустяки все это. Что же это за такие бронированные обстоятельства?

— Вся жизнь. Ее логика — логика моей жизни.

Над головами их посвистывали, распевая вдали, пули и унтер думал: «Тянут, как вальдшнепы, по одному месту. Попробуй-ка, высунься».

— Возьмем прошлое, — сказал Неборский. — Я выбивался, как говорится, «в люди» — крайне медленно, с огромным трудом. С пятнадцати до двадцати восьми лет мне пришлось множество раз рисковать здоровьем на всевозможных профессиях. Однако, мое упорство привело меня, в конце концов, к настоящему, осмысленному, трудовому благополучию. Настоящее — таково: небольшое имение, хорошая, как весна — жена и трое детей. Будущее этих, родных мне людей, лежит, конечно, на мне. Это я и называю логикой обстоятельств — она требует моей жизни, а не смерти; в то, что останусь жив — я верю и, поэтому, душа моя очень спокойна.

Он помолчал и прибавил:

— Короче говоря, я верю, что судьба хочет того же, чего хочу я.

Он бросил окурок и поднялся во весь рост, спокойный, молодой, сильный, с ружьем в руках, готовый возобновить стрельбу, и упал. Пуля ударила его в бровь.

Унтер неподвижно сидел с минуту, нервно косясь на дрогающееся тело Неборского, затем чиркнул спичкой и осветил окровавленное лицо мертвого. Правый глаз, красный, как помидор, вылез из раздробленной орбиты, напоминая глаз рыбы, изуродованный крючком, неожиданно рванувшим ее из призрачной воды жизни к берегу смерти, у которой тоже есть своя логика.

Александр Грин

ТАМ ИЛИ ТАМ

Я проснулся. Было очень тихо. Я лежал под чем-то теплым, закрывавшим меня с головой. Я медлил откинуть свое покрывало и осмотреться. Все произошло из-за виденного мной только что сна.

Сон был странно неуловим, как большинство тяжелых и крепких снов, но общее от него впечатление было такое, что я делал во сне нечто, очень важное и теперь, наяву. Кроме того, мне казалось, что я делал это нечто дома, в домашней обстановке, и что сейчас я тоже нахожусь дома; что стоит мне только открыть то неизвестное, что покрывает меня, как я увижу знакомые предметы, обои, стулья, свой письменный стол и все, к чему так привык за долгие годы обывательской, мирной жизни.

С другой стороны, рассудок твердил мне, что я нахожусь не дома, а в окопе, что покрыт я шинелью, а не одеялом и что вчерашняя перестрелка, пришедшая на память, должна убедить меня наконец в том, что я действительно на войне.

Эта диковинная нерешительность сонного еще сознания осложнялась тем, что воображение, ясно нарисовавшее домашнюю обстановку, задавало лукавый вопрос: «А не приснилось ли тебе, что ты на войне? Может быть, едва лишь ты откинешь это (одеяло?), как сразу увидишь прежде всего — ночной столик с медным подсвечником, книгой и папиросами, а затем — умывальник, комод и зеркало?»

Представление о войне и представление о домашней обстановке были одинаково живы. Я не знал — что из них сон, и что — действительность? Разум твердил, что я лежу у стенки окопа, под шинелью, а окрепшая иллюзия, — что лежу дома, на кровати, под одеялом.

Следовало просто встать и посмотреть вокруг — протереть глаза, как говорят в таких случаях. Я освободил голову. Мутный дневной свет блеснул в лицо, что-то черное и серое, в неясных очертаниях, показалось на мне и скрылось, так как в этот момент разорвалась надо мной первая неприятельская шрапнель и я потерял сознание.

Что шрапнель разорвалась, что я, перед этим, лежал полусонный, стараясь сообразить, где я — дома или в окопе,

— это я хорошо помню. Далее же я ничего не помню вплоть до очень похожего на этот момента: я так же лежу с закрытой чем-то мягким и теплым головой, и не знаю, что это — одеяло или шинель? Я, по-видимому, спал и проснулся. Один раз я просыпаюсь так или второй раз? Я не могу решить этого. Мне кажется, что я в окопе, что стоит открыть глаза, как увижу я серые фигуры солдат, блиндаж, комья земли и небо. Но по другому ощущению — ощущению некоторого физического удобства — мне кажется, что я — дома.

Стоит открыть глаза, откинуть с головы это теплое (шинель? одеяло?) и все будет ясно.

Открываю. Я — дома: это не сон, я действительно дома; в кресле против меня спит, сидя, измученная долгим ночным уходом за мной, жена. Бужу ее. Она, плача, говорит, что выпросила меня из лазарета на квартиру, что я сильно ранен шрапнелью в голову, но поправляюсь, а раньше был без сознания.

Лежу и стараюсь решить: два раза была иллюзия недействительной обстановки или — раз? Не бред ли это был двойной, дома, во время болезни?

Н. Николаев

КАСКА

Приклонский оставил жену на вокзале, а сам метался по городу в поисках квартиры.

Ему не хотелось ждать номера в гостинице. В очереди расположилось уже несколько человек. Их вещи стояли, сложенный кучей, у подъезда и наводили тоску. Какой-то офицер в полушубке, должно быть, с фронта, сидел, понурившись, у лестницы с небольшим саком в руке и не шевелился. Может быть, спал?

Приклонский безуспешно объехал уже несколько, как он выражался по студенческой привычке, «меблирашек», когда у него мелькнула идея:

«Не съездить ли по старому адресу?»

Надежды было мало. Квартир не было и рассчитывать приходилось только на дикий случай. Но случай-то и выручил.

Оказалось, передавалась квартира Ранка. Его давно уже не было в городе, но только теперь, накануне приезда Приклонского, управляющий получил из Швеции письмо: Ранк просил сдать его квартиру на год à un homme distingué. Приклонский взял ее, не торгуясь, и был счастлив.

Приходилось тащиться на извозчике через весь город, на вокзал. Но у Приклонского на душе было теперь хорошо. Он успокоился и с интересом посматривал по сторонам, на шумную жизнь столичной улицы, на стаю голубей, слетевшихся к салазкам какой-то старушки, раскидывавшей кругом горох, на солнечные блики золотых церковных маковок.

Когда в дымной, промозглой зале он нашел Софью Людвиговну и рассказал ей, истомившейся в ожидании, про выручивший их случай, явилось сомнение.

— Хороша ли обстановка?

Но потом Софья Людвиговна решила, что, наверное, хороша:

— В крайнем случае, что-нибудь прикупим!

И они стали торопливо собираться.

«Домой» они попали все-таки к сумеркам. Неосвященная, еще знакомая лестница показалась неприветливой и холодной. Странно было остановиться, не проходя по при-

вычке выше, в бельэтаже, у двери с медной доской, на которой крупными латинскими буквами была изображена фамилия «Ранк».

Дворник давно уже ушел, а они все еще бродили по комнатам и обменивались впечатлениями. В общем, было сумрачно, но довольно уютно.

Когда из длинной столовой, слабо освещенной одним окном с которой стены, они перешли в кабинет с широкой, почти квадратной оттоманкой, мягким ковром и плотными гардинами на окнах, Софья Людвиговна повела худенькими плечами и сказала:

— Знаешь, Макс, мне будет здесь страшно.

Приклонский рассмеялся:

— Ведь здесь полумрак... Зажжем свет, опустим шторы и ты перестанешь нервничать.

Он поцеловал жену, обняв за талию, и прибавил:

— Ты устала с дороги. Василий принесет углей, поставит самовар... Ты согреешься и повеселеешь.

Софья Людвиговна устало и нетерпеливо сморщилась и повторила:

— Я буду бояться.

Приклонский подошел к окну и стал отвязывать шнурок. Тяжелые сборки шторы медленно упали вниз, глухо стукнув подвешенными гирьками.

Когда Максим Петрович перешел к другому окну и стал снова разматывать шнурок, Софья Людвиговна, молча следившая за движениями его сильных, узловатых рук, точно спохватившись, сказала:

— Зажги раньше свет. Если ты не зажжешь люстры и спустишь шторы, я задохнусь.

— Женщина, дышащая светом! — рассмеялся Приклонский, но люстру все-таки поспешил зажечь.

Теперь можно было осмотреться подробнее.

Комната была мрачна, но уютна.

Звуки глухо замирали в бархате мягкой мебели. Шагов не было слышно. По стенам темными пятнами привлекали взгляд почерневшие от времени гравюры. Письменный стол стоял посередине, резной и, по-видимому, старинный.

— Точно саркофаг! — подумал Приклонский. Но вслух не сказал, чтобы не расстраивать жену.

Он помог Софье Людвиговне подняться с низкого пуфа и провел ее, взяв за руку, в столовую.

Здесь было несколько светлее. Готические, высокие стулья были ровно расставлены вокруг и кое-где у стен. Против двери стояло пианино, точно подпирая большое зеркало-трюмо в черной раме, приткнувшееся в углу. И только самовар, брызгавший во все стороны кипятком и криво отражавший комнату, веселил и радовал взгляд.

— Соня, что это?

Приклонский показал на пианино.

Софья Людвиговна подошла ближе и сказала:

— Каска! Откуда она здесь?

Максим Петрович повертел в руках легкую кожаную каску, потрогал медное острие и медную же чешую на ремешки; и прочел вслух надпись:

— *Mit Gott für Koenig und Vaterland.*

Потом он спросил:

— Кто этот Ранк? И... ведь он уехал еще до начала войны?

— А почему это важно? — удивилась Софья Людвиговна.

Максим Петрович не любил говорить о войне. Война мешала его работе, мешала сосредоточиться, думать. Ему нужно было спокойствие, и он боялся, как огня, войны, газет, всей этой шумной и буйной, ненужной и непонятной ему жизни.

Но вопрос, оставшийся без ответа, так и отпал сам собой. Приклонский задумался о чем-то другом, а Софья Людвиговна стала заваривать чай.

После чая ей захотелось поскорее заснуть. Но в спальне лечь она не захотела. Очень уж неприветливо смотрела широкая металлическая кровать с большими блестящими шарами на углах. Софье Людвиговне показалось здесь холодно и неприветливо, а у Приклонского мелькнула мысль о том, что Ранк, должно быть, вел не очень сдержанный образ жизни. В небольшой комнате явственно сохранился раз-

дражающий запах пудры, острых духов и женского тела.

Решили лечь спать в кабинете. Максим Петрович раскрыл дорожный мешок и вынул одеяло и простыни. Софья Людвиговна устроила себе постель на оттоманке, а он пристроился на коротком диване. Двери заперли на ключ. Потом Максим Петрович повернул выключатель и еле добрался до дивана. В комнате стало темно, как в склепе. Из-за плотных штор и гардин нельзя было рассмотреть даже смутного контура окон на фоне вечернего неба.

Когда Приклонский, наконец, нащупал диван, лег и прислушался, до него донеслось только ровное, частое дыхание заснувшей жены да мелодичный звон неудачно подвернувшейся упругой пружины. Потом откуда-то ему показалось, что в комнате есть кто-то третий.

Максим Петрович пролежал минуты три неподвижно. Он вслушивался в темноту, но ничего не слышал. Потом собрал разбежавшиеся мысли, напряженно сжал руки и тихо-тихо окликнул жену. Она молчала и дыхания ее теперь уже не было слышно.

Приклонский протянул руку, нащупал письменный стол и тотчас же ориентировался в темноте. Он спустил на пол ноги, затекшие в неудобной позе на коротком диване, привстал, нащупал соседнее кресло и медленно, бесшумно добрался до оттоманки. Здесь он протянул руку, чтобы разбудить жену, и вздрогнул: Софья Людвиговна не спала, а сидела на оттоманке, согнув спину и судорожно держась рукой за подушку. Она не вскрикнула от неожиданности и даже не пошевелилась. Потом по ее шепоту Максим Петрович понял, что его Соня чувствовала каждое его движение и знала, что он пробирается к дивану, так же точно, как будто видела в темноте.

— Соня, что с тобой? — тихо спросил Приклонский и удивился: почему у него такой хриплый голос.

Софья Людвиговна немного помолчала и ответила:

— Мне страшно.

— Отчего? — снова спросил, чтобы что-нибудь сказать, Максим Петрович.

— Оттого, что пока мы спали, здесь кто-то сидел на моей

постели.

— Что за чушь! — с сердцем и уже громко ответил Приклонский.

Тогда Софья Людвиговна взяла его руку и прижала к одеялу. В этом месте на одеяле образовалось углубление, и оно было теплое, точно нагретое сверху.

Не отвечая, Приклонский грубо вырвал свою руку из руки жены и, натываясь в темноте на мебель, бросился к двери. Он пошарил рукой по стене, нашел выключатель, щелкнул им, и комната осветилась ровным, рассеянным светом. Приклонский увидел свою жену, сидевшую на оттоманке в скорченной позе, с уставленными вперед, неподвижными, расширенными, полубезумными глазами. Увидел свой растерзанный ночной туалет, руку, все еще державшуюся за выключатель, точно за единственную точку опоры, занавешенные окна, пустую, безжизненно-мягкую, мрачную комнату, и ему невольно стало стыдно.

— Нервы расшалились! — сказал он жене, точно извиняясь.

Потом спохватился, бросился к Софье Людвиговне, обнял ее за талию, стал гладить по кудрявым волосам, целовать ее испуганные глаза и ободрять ласковыми словами.

Софья Людвиговна, слушая, приходила в себя. Потом она ухватилась за плечи мужа и стала умолять его не отходить от нее и не тушить света.

Максим Петрович не спрашивал ее и покорился. Он уложил жену, присел и закурил сигару.

Софья Людвиговна заснула не скоро. Приклонский сидел и думал, пуская дым струйкой и следя, как он расплывается по комнате ровными, густыми волнами.

Сигара была уже почти докурена, когда он прилег и задремал, не погасив огня. Софья Людвиговна лежала с закрытыми глазами, должно быть, также дремала.

Сквозь дремоту до него доносился тягучий, мелодичный мотив. Тихо, но надоедливо, кто-то наигрывал на рояле сентиментальную, наивную песенку. Мелодия докучливо щеко-тала слух, отрывала от сна и не могла оторвать, — только настораживала внимание, вызывая безуспешную борьбу с

дремотой. И так тянулось долго, могло бы тянуться еще дольше, если бы не рыдание, глухое, сдержанное и все же отчетливое рыдание сплелось с мотивом и вырвало из полуживы в явь. Максим Петрович вскочил и присел на диван с протянутой вперед, точно для самозащиты, рукой.

В комнате было светло и пусто. На оттоманке, полуприкрытой скомканной простыней, сидела Софья Людвиговна, обхватив руками колени и спрятав лицо. Волосы у нее были распущены и разметались по поднятым кверху худеньким плечам. Она беззвучно вздрагивала и передергивалась мелкой дрожью. Только изредка, задыхаясь, она слегка поднимала лицо, и тогда Максим Петрович видел знакомые ему, милые, глубокие глаза, теперь расширенные, страдающие, и слышал рыдание, похожее на стон или жалобу.

Пораженный, он не сразу сообразил, что надо делать. Потом встал, подошел к жене, снова начал гладить ее лицо, целовать шею, успокаивать и просить, сам не зная, о чем. А она сидела все такая же, полная страдания и рыдающая, и только почти беззвучно повторяла:

— Это он, он...

— Кто он? — расслышав наконец, спросил Приклонский.

— Не знаю! — так же беззвучно прошептала Софья Людвиговна. — Не знаю.

Максим Петрович почувствовал, что ему становится не по себе. Голова слегка кружилась, и комната, полная ароматным туманом табачного дыма, принимала мгновениями фантастические очертания.

Он сделал усилие над собой, прижал к себе рыдающую, трепещущую жену и спросил настойчиво и властно:

— Скажи... Ты должна сказать: кто он?

Она сквозь слезы ответила:

— Не знаю... Он — там.

Маленькая худенькая рука протянулась по направлению к запертой двери.

— В столовой? — вздрогнул Приклонский. — Ты почему знаешь?

Теперь он прислушивался снова, и вдруг понял: кто-то

наигрывал на пианино в столовой.

— Не может быть! — крикнул придавленным, театрально-громким шепотом Максим Петрович, точно убеждал и одергивал самого себя.

Потом он сжал руку жены так, что та вздрогнула, и насторожился, Маленькая, зажатая его сильными руками, хуленькая ручка лежала неподвижно и послушно, не делая даже попытки вырваться.

Теперь у Приклонского взгляд был расширенный и неподвижный, как и у его жены. Он владел собой, старался не распускать нервов, но холодные мурашки явственно бегали по спине и под мышками на рубашке выступили пятна пота.

Софья Людвиговна зашептала, как в бреду:

— Знаешь, мне жаль его. Так жаль, что не могу выразить... Ты понимаешь? Слушай же! Слушай...

Мотив был все такой же сентиментально-наивный. То слегка заунывные, то более смелые нотки точно выбегали одна за другой, сливаясь то в гармоничные аккорды, то в наивно-мелодичный напев. Точно кто-то большой и сильный по-детски беспомощно жаловался на свою грустную судьбу — без отчаяния, без гнева, с тихой покорностью на неизбывное, щемящее горе. Максиму Петровичу даже показалось, что он слышал уже где-то этот напев. Ему было страшно, тяжело, но сочувствия к тому, кто так жаловался, он у себя в душе не нашел. А Софья Людвиговна плакала, точно вспоминала что-то знакомое с детства, и то затихала, то снова начинала судорожно подергиваться в конвульсивных рыданиях. Приклонский встал и оглянулся, отыскивая взглядом что-либо, что могло бы служить оружием. Но ничего не было. Взглянув, точно загипнотизированный, на валик оттоманки, он протянул было руку, чтобы взять его, и тотчас отдернул.

Потом, автомат, зашагал к двери.

Софья Людвиговна непрерывно рыдала:

— Не надо! Не надо!

Затем вскочила и, не переставая плакать, крадучись, поплелась за мужем.

У Максима Петровича дрожали руки и он не сразу открыл дверь. Теперь он явственно слышал, что звуки мелодии неслись из столовой. Только играл кто-то тихо-тихо, как трудно играть даже под сурдинку.

Приклонскому теперь было уже даже не страшно. Сердце у него билось, как обезумевшее, руки не слушались. Но где-то в глубине души вставало что-то похожее на злобу, заставлявшее хвататься за ключ и торопить непослушные, негибающиеся, дрожащие руки.

Звучно щелкнул замок.

Нажав рукоятку, Максим Петрович распахнул обе половинки двери и замер на пороге.

Перед ним раскрылась зияющая темнота столовой. Светлый треугольник протянулся по полу и выхватил угол стола. Но там, дальше, все было темно и только придавленная мелодия, то грустная, то торжествующая, вырывалась теперь громче, отчетливее и страшнее.

Приклонский сделал шаг вперед, потом попятился и прижался к стене спиной. Он ничего не мог рассмотреть впереди в том углу, где стояло пианино. Одной рукой он держал за руку жену, прижавшую к его плечу разгоряченное, мокрое лицо, а другою шарил по стене, нащупывая выключатель, долго не мог его найти и еще дольше не умел повернуть. Потом вдруг щелкнул и зажег свет.

Теперь мурашки побежали у него со спины по голове.

Прямо впереди блесло черным матовым отсветом пианино. Перед ним стоял стул на винтовой ножке, но стул был пуст. В комнате никого не было, не было и у пианино никаких механических приспособлений, да и кто мог бы их завести? Но клавиши явственно прыгали под чьими-то руками, наглый, издевающийся напев теперь уже громче торжествовал какую-то гнусную победу.

Шатаясь, Приклонский подошел к пианино и схватился за край его. Музыка оборвалась на полутакте.

Он постоял, схватившись руками за голову. Теперь он не знал, где он, что с ним. Он боялся, он ждал чего-то страшного, но это «ничего» было страшнее, ужаснее всего, что подсказывало воображение.

И вдруг Максим Петрович услышал звук поцелуя. Он обернулся.

Софья Людвиговна стояла с поднятым кверху лицом, с вытянутыми вперед, хватающими воздух руками. Потом Приклонский почему-то перевел ошалелый взгляд в угол, за пианино, туда, где стояло зеркало, и вскрикнул, вскрикнул диким, срывающимся голосом, без слов и смысла. В зеркале он увидел в профиль жену и перед ней высокого, знакомого по мимолетным встречам человека с длинной, холерной русой бородой. Прижимая к себе Софью Людвиговну, он впился в ее губы бесконечным поцелуем, а она, дрожа и вытягиваясь, отдавалась этому поцелую и прижималась к его странной, однобортной серой тужурке со стоячим отложным воротником и, обессиленная, готова была упасть, если бы ее не поддерживал он, нагло прижав к ней ногу в коротком сапоге.

Не понимая, что делает, Приклонский схватил что-то, что было у него под рукой, и бросил в зеркало.

Медное острие каски мелькнуло в воздухе. Посыпались осколки разбитого стекла.

Потом Максим Петрович бросился вперед. Туман застал его глаза. Он помнил только, что грохнулся вместе с ними на пол и что его сильные, узловатые руки долго и безумно давали попавшееся в них чье-то мягкое тело.



Утром его нашли в беспамятстве. Софья Людвиговна лежала, раскинувшись, с темными кровоподтеками на исцарапанной шее.

Зеркало было разбито, и возле него лежала исковерканная кожаная каска с медным одноглавым орлом.

А. М. Барредж

ПРЕДЕЛ ВИДЕНИЙ

Пер. В. Немчинова

Около разрушенной снарядами батареи лежало несколько артиллеристов. Девять из них были мертвы, Даррел, младший офицер, был еще жив. Наступившая ночь заставила замолчать орудия, и санитары уже начали свою работу, но Даррел еще не был открыт.

Уже много часов лежал он так. Он не имел понятия о том, куда он ранен, и чувствовал только жестокие мучения от движения и еще худшие — от лежания спокойно. Бред охватил его уже давно и спас от размышлений.

В редкие минуты сознания он нетерпеливо ждал смерти, подобно измученному путешественнику, жаждущему увидеть огни жилья.

Это был кошмарный день, и ночь не принесла облегчения. Вначале стрельба заглушала стоны раненых, теперь же отовсюду слышались их голоса, как громкий протест против безумия и жестокости людей.

Даррел заставил себя хранить молчание: раненых офицеров просили делать как можно меньше шума. Он лежал неподвижно, не имея ни силы, ни желания двигаться. Влево от него был лесок, в котором перекликались совы. Эти звуки, тихие, настойчивые и заунывные, пробудили в нем смутное сознание. Он часто слышал их раньше. В Англии, много лет тому назад, маленький мальчик часто лежал без сна в своей детской, прислушиваясь к голосам сов, кричащих в лесу, позади сада.

На миг Даррел очутился опять в этой комнате, смотрящий на синее небо, обрамленное окном и легко затянутое занавеской.

Он снова видел Доббина, своего деревянного коня, и сложенные коробки, в которых мирно спали его оловянные солдатики.

Но он сознавал, что этот маленький мальчик и он были далеки друг от друга: долгие годы жизни отделяли их; он чувствовал влажную землю под своей ладонью...

Неподвижная звезда, выглянувшая между облаками, казалась оком Божиим, посылавшим ему мир и успокоение. Боль мало-помалу покинула его, и свыше словно сошло благословенное забытье... Он сидел на коне и проезжал по ра-

зукрашенным флагами улицам Лондона вместе со своим полком, а с тротуаров и из окон домов неслись восторженные крики толпы.

Когда сцена внезапно изменилась, он не удивился, а принял это как должное, со спокойствием человека, видящего сон.

Он был моложе, и было прелестное весеннее утро. Еще не видя фруктовых деревьев, покрытых бело-розовыми цветами, и нежно-зеленых изгородей, он уже чувствовал, что была весна.

Он знал дорогу, как человек знает лицо своей матери. Слева изгородь окаймляла длинный, узкий фруктовый сад. Изнутри изгородь эта была защищена колючей проволокой, потому что мальчики наносили страшный урон вишням старого фермера Мартина. Изгородь примыкала к высокой красной стене, между кирпичами которой пробивался мох. Даррел знал, что сейчас пройдет мимо больших, окованных железом ворот с нависшим над дорогой фонарем. Он забыл, кто жил в большом доме, да и не делал усилий, чтобы вспомнить, так как это совершенно его не касалось. Через полмили дорога сворачивала в красивую долину, где, прислонившись к церкви, стоял уютный домик викария. Все мысли его были сосредоточены около этого домика, потому что там жила Мэвис.

Он забыл, что Мэвис выросла и обращалась с ним все холоднее и холоднее, что маленькая девочка, любившая мальчика, превратилась в молодую девушку, которая едва терпела мужчину. Иногда он думал, что она скрывает свою старую любовь к нему, но у него не доставало храбрости спросить ее об этом.

Однажды, когда старый домик был еще тише, чем обыкновенно, и шторы были спущены, он поцеловал Мэвис в первый раз со времени детства. Лицо ее было холодно и бледно, и его слезы увлажнили его... Потом ее унесли и спрятали глубоко под землей... Но Даррел забыл все это. Сон его был очень милостив...

Наконец, он стоял перед домиком викария, и старая служанка Марта, такая смешная в своем маленьком чепчике,

сидящем всегда удивительно прямо на ее седой голове, стояла перед ним в дверях. Глядя мимо нее, он мог видеть картину «Ессе Номо», висящую над лестницей, оленьи рога над дверью в столовую, знакомые шляпы на вешалке. Одна из летних шляп Мэвис висела там — шляпа, отделанная вишнями.

Нет, мисс Мэвис не было дома, но он должен был знать, где найти ее.

Отделавшись от него таким образом, старая Марта закрыла дверь. Очень странное поведение с ее стороны! Что она хотела сказать? Он пошел назад, размышляя.

Он очутился на кладбище, где могильные холмы были уже зеленые и старые памятники торчали несуразно из земли.

Он тихонько засмеялся. Конечно, тут не могло быть Мэвис. Но где же она?

Образ маленькой десятилетней девочки, играющей в роще около ручья, предстал пред ним. Она промочила ноги и, сняв башмаки и чулки, развесила их на солнце, не решаясь идти домой с очевидным признаком своей шалости.

Он нашел ее тогда, и научил играть в разбойники. Конечно, это случилось много лет назад, и он не мог ожидать увидеть ее там теперь. Но все-таки он направился к роще искать ее. Так всегда бывает во сне...

Он услышал журчание ручейка и, покинув тропинку, начал пробираться через кустарник, пока не вышел на большую поляну. Солнце сияло, освещая целый сад самых разнообразных цветов и переливаясь бриллиантами в бегущем ручейке.

Кругом лес казался тихим и прохладным.

Два маленьких башмачка, немилосердно промоченных, и пара мокрых чулочков лежали на пне, под горячими лучами солнца.

Нагнувшись, чтобы поднять их, он услышал свое имя и звонкий смех.

Он выпрямился и огляделся.

— Мэвис, — позвал он, — где же ты?

Она выбежала к нему из-за большого дерева. Он глядел на нее удивленно, не ожидая видеть такого маленького ребенка. Он наклонился, и ее губки прижались к его щеке.

— Я думал, что ты уже совсем взрослая девушка, — прошептал он.

Она покачала головкой, улыбаясь и откидывая назад свои локоны.

— О нет, нет, — сказала она, — ты думаешь о другой Мэвис.

— Пойдем со мной, дорогой, — продолжала она, — пойдем со мной туда, где ты будешь счастлив!..

Пальцы ребенка охватили его руку...

Видения исчезли, но он не проснулся.



Человек с фонарем выступил из мрака и наклонился. Не двигаясь, он обратился к нескольким санитарам, бесшумно следовавшим за ним.

— Тут есть еще человек двенадцать, — сказал он заглушенным голосом. — Один офицер...

Какой-то тихий голос что то спросил.

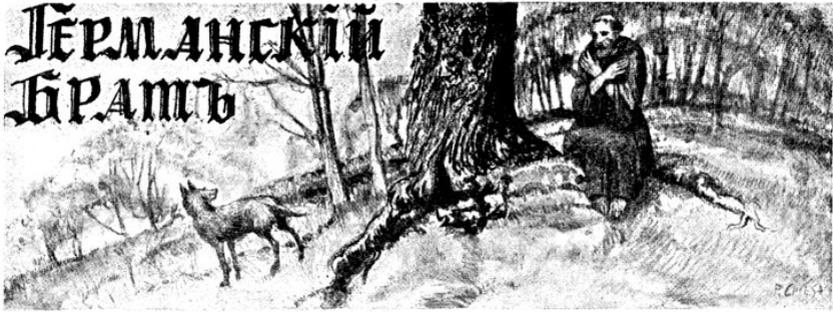
Вновь прибывший покачал головой.

— Нет, — ответил он, — все мертвы...

Пьетро Къеза

ГЕРМАНСКИЙ БРАТ

Францисканская легенда



Птицы понемногу возвращались из далекого странствия. Святой отшельник отпускал их в чужие страны. Когда они улетали, разделившись по его ласковому призыву на четыре стаи, он следил, как они исчезают в синеве неба, и благословлял их полет. На восходе и на закате, в полночных и полуденных землях повсюду должна была прозвучать их песнь благодарности и радости.

Теперь они возвращались. Голоса их не так звонки. Может быть, они пели слишком много хвалебных гимнов и теперь устали? Они как-то робко щебетали, и в весеннем воздухе изредка слышались какие-то грустные нотки. Может быть, они утомились от далекого пути? Они тихо перескакивали с ветки на ветку, грелись на солнышке среди зеленой сети распускающихся почек и молодых листиков, чистили свои пестрые перышки.

Святой сидел на камне и любовался на них. Птиц было еще немного. Может быть, в черных сосновых лесах Германии веселые чижи своими трелями оживляют колючие заросли и зовут к радости свирепых воинов. Может быть, не боясь холода, свили себе воздушные странники гнезда в землях далеких норманнов, франков, остготов, суровых финнов или ужасных монголов? Этих людей, привыкших только к крику сов и к карканью воронов, они, верно, решились научить, как нужно петь и славить Творца.

Так думал святой Франциск и говорил это своему товарищу, брату Волку, дикому зверю, которого никто больше не боялся ни в лесу, ни в селеньи. С тех пор, как святой убе-

дил его отказаться от всех преимуществ его могучих челютей, обещав давать ему все необходимое, Волк гулял на свободе, обнюхивая землю и воздух. Он подходил к дверям домов, пробежал около курятников и овчарен, но его появление не пугало ни детей, ни домашних животных.

— Брат мой, Волк, мне удалось лишить тебя твоей кровожадности. Ты был всеобщим ужасом. Тебя ненавидели. А теперь дети выходят тебе навстречу и радостно бегут за тобой. Так хотел Господь. Все создано Божественной любовью и, искупленное праведной кровью, принадлежит к одной великой семье. Все сплетается в одной божественной гармонии. Рев бури, палящий огонь, страдание и смерть, — вы все мои братья и сестры.

В то время, когда так говорил святой, Волк обнюхивал сырые листья, от которых на весеннем солнце поднимался какой-то особенный аромат. Молодые травки и зеленые кустики пробивались через мягкую землю и валежник, отыскивая себе дорогу к новой жизни. Барвинки и анемоны, медуница и горчанка, вполне распустившиеся и счастливые, пестрели кругом на тропинках и полянках. Белые, желтые, розовые примулы и маргаритки смеялись из травы и прятались в могучих корнях деревьев. Но зверь не трогал цветов. Его больше занимали темные ямки, где, может быть, притаившись, сидел крот или пряталась пугливая ящерица. Вдруг он с ворчаньем бросился в сторону.

Что случилось? Святой направился вслед за зверем. Под большим деревом, раскинувшись, как мертвый, лежал человек. Густая темная кровь залила кругом траву и цветы. Святой опустился на колени и взял его руку со словами: «Брат мой, брат!». Но рука человека бессильно упала, а губы беззвучно искривились.

Тогда из бежавшего вблизи ручья отшельник в поле своей рясы принес воды, брызнул ею на лицо лежащего, омочил его губы. Они разжались в прерывистом дыхании, глаза широко раскрылись, полные ужаса. «Брат мой, о, брат мой!» — повторил святой. — Глаза раненого мрачно устремились в глаза его спасителя. Он глубоко зевнул, как бы пробуждаясь от тяжелого сна, и прошептал: «Ach mein Gott».

Это был сильный мужчина. Белокурые жесткие волосы, коротко стриженные на крепком костистом черепе, толстая бычья шея, щетинистая борода, обрамлявшая лицо, надменности которого не скрашивали холодные стеклянные глаза, — все указывало на то, что он — германец. Это был, должно быть, один из тех баронов, которых свевские императоры посылали в итальянские земли, чтобы угнетать их и обирать побольше дани. Он говорил с трудом. Итальянские слова выходили какими-то неясными из его толстой глотки. От усилия быть понятым он весь наливался кровью и поминутно обрывал свою речь, бешено искажая лицо.

Святой помог ему подняться. Своим тщедушным телом поддержал качающегося гиганта, накинул поверх его кольчуги разорванную богатую мантию, повел его к ручью, бережно усадил на землю. Германец обнажил свою ногу: на бедре отчетливо виднелись три раны, сделанные точно трезубцем. Он посмотрел на них, произнося какие-то непонятные слова, ощупал, потом снова покрыл одеждой. Затем он нагнулся над прозрачной водой ручья, некоторое время пил долгими глотками, потом погрузил голову в прохладную влагу, поднял ее всю мокрую, встряхнулся, громко чихнул и сказал: « Я хочу есть! ». — Да будет благословен Христос. В это утро святой Франциск и Волк получили в виде милостыни три хлеба, — они утолят голод брата-чужестранца.



— Вкушай, германский брат мой! Этот хлеб, который бедняк дал еще более бедному, питает не только тело, но и душу. Та же грубая рука, которая вспахала землю, посеяла зерно, замесила этот хлеб и подала его мне, во имя Христа. Вкушай, брат мой, на хлебе этом благословение Господне.

Алеманский барон ел молча. Когда два хлеба были съедены, он начал разговаривать.

— В Италии небо прекрасно, но люди коварны и бесчестны. Он, барон Умфрид Ауф, может утверждать это. Его предали. Стоило любить и оберегать свои феодальные владенья! Да, страна нравилась ему. В дни жатвы он чувствовал к ней отеческую нежность: виноградники великолепны, оливковые рощи плодородны. Нет недостатка в обработанных полях и лугах, на которых пасется столько стад. И женщины красивы. Он многих любил. Но сколько коварства! Сколько неблагодарности!

Он разломил третий хлеб руками, еще запачканными кровью, и сказал : «Я убил».

Св. Франциск посмотрел на него и с кротостью сказал:

— Германский брат мой, ты согрешил. Но я еще больший грешник. Унизимся в смирении, каюсь в наших грехах. Мы многому можем научиться от этого Волка, который был кровожадным, а теперь стал ручным. Смотри, он довольствуется твоими объедками. Голод не толкает его больше на людей и на животных, так как он уразумел доброе слово.

— Нет, нет, — стал возражать германец. — Не он грешник, нет. Его нельзя сравнивать с жалким монахом. Не он согрешил и ему незачем унижаться, ему, барону Умфриду Ауффу, чистой свежеской крови, другу и верному слуге Фридриха, священного римского императора. Убил! Да, убил! И не один раз. Убивал часто и с полным правом. Грешниками были они, эти мертвые. Они были врагами Священной Империи или его личными врагами. Кто оскорблял его — оскорблял императора. Кто оскорблял императора — оскорблял Бога. И Бог сам, при помощи его германского меча, карал общих врагов. Увы, этот меч у него украли и сломали. Как это случилось? Предательство! Измена!.. Из-за женщины! Из-за ничего не стоящей девчонки. Она была красивая, правда, стройная, черноволосая, с смеющимися глазами. Она хорошо пела. Ну, и он, властитель Тридженны, сказал этой девчонке: «Ты мне нравишься!» Ведь это честь. Честь для этой девчонки, для всей ее родни, для всей этой черни. Честь для всей Италии, что он, барон Умфрид Ауф, сказал итальянке: «Ты мне нравишься, и я те-

бя хочу!»

Да, она ему нравилась, и он ее желал. Он пошел бы даже на жертвы: заново отделанный домик, чтобы поселить ее, верную служанку, подарки, платья и кушанья. Кроме того, он дал бы денег ее матери, отца сделал бы садовником, брата принял бы в свою стражу. Вся семья знала о своем счастье. И за все это такое ужасное предательство. Два дня тому назад он проснулся рано от звуков песни. Он подошел к окну и увидел ее, девушку, по ту сторону замкового рва, в лесу. Она собирала нарциссы и пела. Ему показалось, что это призыв. Он был в этом уверен. Быстро одевшись, он выходит почти безоружный. Никого нет, она исчезла. Потом снова голос ее звучит и точно говорит ему, что там, в глубине леса, есть другие поляны, еще более прекрасные, чтобы любить и наслаждаться. Он идет. Он уже близко. Сквозь кусты видно ее белое платье. Потом опять исчезает, замолкает. Он сердится, зовет ее. Где она? Как идти? Смех звучит совсем близко. Белая тень исчезает, снова появляется и опять убегает. Игра его сердит. Он кричит и грозит. Он зашел уже далеко; платье разорвалось о ветви, руки и ноги исцарапаны. Проклятая колдунья! О, добыть ее и задушить в порыве любви и ненависти! Задышавшись, весь мокрый, он осматривается, прислушивается. Но кто-то другой бежит и зовет его. Это — Виндт, его верный оруженосец. «Господин, господин, нас предали! Замок Триджелины горит. Стража взбунтовалась, весь город восстал. Я чудом спасся! Бежим!..»

И верно: черная туча с огненными языками поднимается там, в глубине. Разбойники! Неблагодарные! Но прежде, чем бежать, нужно казнить эту низкую змею. Прежде, чем призывать войска императора, надо снять с плеч эту изменническую голову. Где она? «Где ты, проклятая? — рычит Умфрид нечеловеческим голосом. — Где ты, сволочь! Я хочу уничтожить тебя, обратить в прах! Где ты?»

От бешенства он ничего не видит, но Виндт находит девушку: она взобралась на цветущую вишню и, дрожа, притаилась там, вся белая, среди белых цветов. «Вниз! — режут они оба, потрясая дерево и обнажая мечи. — Слезай, прокля-

лятая!» Они налегают на ствол, дерево с треском ломается и скрывает в своих ветвях девушку. Она даже не кричит, и



только, как ласточка, тихо взвизгивает, когда Умфрид пронзает ее мечом. Но в этот миг подступают крестьяне с косами, вилами, палками. Виндт падает с рассеченной головой. Умфриду же, потерявшему меч, раненому вилой, удает-

ся бежать и спрятаться в лесу, где только через два дня к нему, лишившемуся чувств, пришел на помощь святой.

Так на своем варварском итальянском языке рассказывал барон, пожирая хлеб бедняка и поглядывая на запекшуюся в морщинах рук кровь убитой девушки.

Потом он заговорил о своей родине, великой, могучей. Там женщины добродетельны, и каждая приносит, по крайней мере, по десятку сыновей. Они умеют печь чудные пряники из меда и свиной крови. Мужчины там сильны и учены. Во всем мире, что хорошо, происходит от германцев: щедрость, религия, сила, земледелие, право.

— Германия, Германия! — повторял он, окидывая взглядом небо и землю, как бы желая убедиться, что все принадлежит его священному императору. Помолчав немного, он продолжал:

— В замке Пулия, где живет со своим двором наш властитель, император Фридрих, среди других ученых я познакомился с одним историком-арабом. И он мне дал доказательство истинного происхождения Рима. Ромул и Рем — были дети германцев. Отец-свев и мать-саксонка прибыли в страну семи холмов, странствуя для развлечения. Женщина, которая находилась в восьмом месяце, шла медленными величественным шагом. Кто-то предательски протянул корень через тропинку. Она запнулась и упала, ударившись животом о камень. (Коварная, предательская страна). Начались боли. Муж пошел искать помощи, но встретил только волчицу. Мать умерла, но волчица вскормила детей. Но эта волчица была тоже германская, и молоко ее было тоже германским.

Ты не можешь понять, невежественный монах, сколько я знаю и как далеко заходит германская наука! Мы знаем точно, как Бог сотворил мир, знаем все те вещества, из которых Он создал человека, знаем их точное количество. Мы знаем всю ту машину, которая управляет ходом звезд. И все, что мы, германцы, сделали для людей...

Смиренный монах, казалось, не слушал голоса свевского барона. Он глядел, как пестреют на солнце влажные от росы цветы, полные божественной любви. Может быть, он

прислушивался к щебетанью ласточек и синичек. Почему так пугливы и робки эти братья из воздушного царства? «Тише, тише!», казалось, звучало в кустах. И птицы все замолкли.

Германец, в страхе, тоже замолк. Отшельник вдруг поднялся и выпрямился. Вслед за ним поднялся Волк, и оба они смотрели на германца, величественные и грозные.

— Волк, брат мой, хватай его. Я запретил тебе быть кровожадным. Ты не можешь растерзать его. Но прогони его прочь! Это не человек! Это — дьявол! Ты слышал? Устами его говорит враг рода человеческого. И ты в нем узнал злого духа, потому что он глух к добру, и только гордость свою, как яд, он разливает всюду. Не живое сердце, а камень у него в груди.

О, Волк, брат мой, зубы твои еще крепки. Не убивай его, но встряхни и гони его прочь. Пусть он уйдет прочь. Путь далек, но пусть он уйдет, уйдет к далеким ущельям Альп. Гони его туда и даже дальше! Там, где чернеют еловые леса среди вечных снегов, там покинь его. Пусть уйдет от нас это ужасное существо, и да развеет ветер тот яд, который он разливал вокруг.

Все умолкло. Молчало небо, молчал охваченный ужасом лес, и только ручеек тихо журчал меж камней.

Германец широко раскрыл свои прозрачные глаза и попробовал бежать. Но Волк прыгнул к нему и слегка схватил зубами его жирную шею. Указывая ему дорогу, он слегка прикусил ему левое ухо. Потом должен был повторить то же и с правым. Вперед! Путь далек! Надо пройти леса, долины, селенья. Нужно давать ему отдых ночью, этому лентяю, нужно позволять ему утолять голод вареной картошкой. А потом опять идти и идти. И Волк, подгоняя его, рычал: «Вперед, вперед!».

Когда они перешли Альпы, Волк позволил германцу растянуться на снегу. Ели и сосны темным кольцом окружали их.

Тогда Волк завыл, призывая германских волков прийти к нему и утолить голод.



Но они не пришли. Может быть, они не поняли языка своего итальянского брата... Может быть, не доверяли ему...

И Умфрид Аупф остался жить и от него произошли потомки...

Артур Мэйчен

ЛУЧНИКИ

Пер. М. Фоменко

Случилось это во время «Отступления восьмидесяти тысяч», и требования цензуры в достаточной мере оправдывают отсутствие прочих подробностей. Но было то в самый страшный день этого страшного времени, в день, когда гибель и злосчастье приблизились настолько, что тень их пала на далекий Лондон, и сердца людей, напрасно ждавших известий с фронта, содрогнулись в тоске и унынии, словно агония армии на поле боя охватила их души.

В этот ужасный день, когда триста тысяч вооруженных людей со всей их артиллерией ринулись, подобно потопу, на ничтожные английские силы, одно из укреплений на нашей передовой линии оказалось на некоторое время в жесточайшей опасности, под угрозой не просто поражения, но полнейшего уничтожения. С разрешения цензуры и военного эксперта это укрепление, вероятно, можно описать как значимое; будь оно сломлено и покорено, вся английская армия очутилась бы под ударом, левый фланг союзников был бы смят — и разгрома, подобного Седану, избежать уже было бы невозможно.

Все утро грохотали немецкие пушки; снаряды, визжа и воя в воздухе, обрушивались на укрепление и гарнизон, состоявший примерно из тысячи человек. Солдаты подшучивали над снарядами, придумывали для них забавные имена, делали на них ставки и приветствовали их куплетами из мюзик-холла. Но снаряды продолжали падать и взрываться, и разрывали смелых англичан на куски, и разлучали брата с братом; становилось все жарче, и все яростней делалась эта чудовищная канонада. Помощи, казалось, ждать не приходилось. Прицел английской артиллерии был точен, но ее и близко не хватало, а немцы планомерно били по пушкам, обращая их в железный лом.

На море, во время бури, порой наступает минута, когда люди говорят друг другу: «Это самое худшее; сильнее нельзя и представить»; но после ветер начинает яриться с удесытеренной силой. Так было и в британских окопах.

Мир не знал сердец отважней, чем сердца этих людей; однако и они ужаснулись, когда семикратный ад германской канонады обрушился на них, сминая и уничтожая. В

тот миг они увидели, что на их окопы движется непредставимое воинство. Из тысячи в живых оставалось пятьсот, и со всех сторон на них наседали немецкая пехота, колонна за колонной — серое скопище людей, десять тысяч, как потом подсчитали.

Последняя надежда угасла. Некоторые обменялись рукопожатиями. Кто-то запел только что придуманные на мотив боевой песни слова: «До свиданья, прощай, Типперери» — и закончил: «И мы не увидим тебя». И они продолжали непрерывно стрелять. Офицеры говорили, что такая удобная возможность для первоклассной стрельбы едва ли вновь представится; немцы падали один за другим, линия за линией, и затейник, что пел о Типперери, заметил: «Прямо как на Сидней-стрит». Несколько оставшихся пулеметов также делали свое дело. Все понимали, однако, что дело это безнадежно. Мертвые серые тела громоздились ротами там и батальонами, но другие все наседали, приближались, роились и перестилались грозной тучей до самого горизонта.

— И вечный мир. Аминь, — немного не к месту сказал один из британских солдат, прицелился и выстрелил. Затем он вспомнил — как он уверяет, непонятно почему и в связи с чем — чудной вегетарианский ресторан в Лондоне, где он раз или два ел эксцентричные блюда наподобие котлет из чечевицы или орехов, притворявшихся отбивными. На всех тарелках в этом ресторане был изображен святой Георгий в синем одеянии и написан девиз: «*Adsit Anglis Sanctus Geogius*» — «Да поможет англичанам святой Георгий». А этот солдат случайно знал латынь и прочие бесполезные вещи, и сейчас, выбрав мишень в серой близящейся массе в 300 ярдах от окопа, он произнес вслух благочестивый вегетарианский девиз. Он продолжал посылать пулю за пулей, пока Билл, по правую руку, не остановил его шуточной затрепачкой, указывая, что королевская амуниция стоит денег и не к чему тратить ее на изысканный орнамент из дыр в телах мертвых немцев.

Стоило нашему латинисту произнести свое заклинание, как он ощутил нечто похожее на дрожь или удар электри-

ческого тока. Рев сражения превратился в его ушах в еле слышимый рокот и вместо шума битвы, по его рассказу, он услышал величественный голос и громоподобный возглас: «Стройся, стройся, стройся!»

Его сердце раскалилось, как горящий уголь, и тотчас пронзило грудь холодом, как лед, ибо ему показалось, что тысячи голосов ответили на его призыв. Он слышал или думал, что слышит, их крики:

— Святой Георгий! Святой Георгий!

— А! мессир! Ах, милостивый святой, даруй нам избавление!

— Святой Георгий за добрую старую Англию!

— К бою! К бою! Монсиньор Георгий, на помощь!

— А! Святой Георгий! А! Святой Георгий! Длинный лук, крепкий лук!

— Небесный воитель, помоги нам!

И солдат, слыша эти голоса, увидел перед собой, перед окопом, длинный ряд облеченных в сияние форм. Они ходили на воинов, натягивающих луки. И вновь вскричали они, и облако их стрел запело, звеня в полете, и ринулось к немецким ордам.

Его товарищи в окопе все время стреляли. Надежды у них не осталось, но они спокойно целились, как на стрелковом поле в Бизли. И вдруг один из них разразился восклицаниями, не выбирая слов:

— Господи спаси! — крикнул он своему соседу. — Что за чудеса творятся! Глянь-ка на этих серых... господ, только погляди! Видишь? Так и валятся — не десятками, не сотнями, а тысячами, вот что я тебе скажу! Смотри! Целый полк рухнул, пока я с тобой разговаривал!

— Заткнись! — гаркнул другой солдат, прицеливаясь. — Что ты там несешь?

Но в тот же миг он застыл от удивления, не договорив, ибо серые люди и впрямь падали тысячами. Англичане слышали отрывистые крики немецких офицеров, треск их револьверов, когда они стреляли по своим оробевшим солдатам; и все-таки ряд за рядом валились на землю.

А солдат, знавший латынь, все время слышал крики: «К бою! К бою! Монсеньор, возлюбленный святой, поспеши к нам на помощь! Святой Георгий, помоги нам!»

— Благородный кавалер, защити нас!

Быстрое облако поющих стрел густело, затмевая свет, и нечестивая орда таяла пред ними.

— Новые пулеметы! — крикнул Билл Тому.

— Ничего не слышу, — закричал в ответ Том. — Но и без того они, слава Богу, получили по шее.

И в самом деле, десять тысяч мертвых немецких солдат остались лежать перед этим укреплением английской армии, и повторения Седана удалось избежать. В Германии, стране, где господствуют научные принципы, Большой Генеральный Штаб решил, что презренные англичане, не иначе, использовали снаряды, начиненные неизвестным ядовитым газом — ведь никаких ран на телах мертвых немецких солдат обнаружено не было. Но человек, который знал вкус орехов, выдающих себя за отбивные, знал также, что святой Георгий в тот день привел на помощь англичанам своих азенкурских лучников.

ИЗУМИТЕЛЬНОЕ ПРОРОЧЕСТВО ГЕТЕ.

Въ бумагахъ великаго поэта, среди тысячъ набросковъ и отрывковъ начатыхъ и задуманныхъ произведеній, найдены были слѣдующія строки—отрывокъ незаконченной поэмы «Сонъ Эпименида»:

«Да будетъ проклятъ тотъ германецъ, который, полный злокозненныхъ замысловъ и дерзновенной отваги, попытается возобновить дѣло Корсиканца! Рано или поздно онъ почувствуетъ, что существуетъ вѣчное право. Какъ бы велика ни была его мощь, какъ бы онъ ни напрягалъ свои усилія, его дѣло обернется гибелью для него и для его народа».

Легенда объ Эпименидѣ гласитъ, что, проспавъ 100 лѣтъ, онъ проснулся на 101-мъ году своего чудеснаго сна.

Стихи эти, печатаемые въ шестой серіи «Ксений», помѣчены 1815 г...

100 лѣтъ сна... И громовое пробужденіе на 101-мъ году...

Изумительное совпаденіе?

Для мистически настроенной души—поражающее пророчество...

Но какъ ни смотреть на это,—голосъ величайшаго германскаго поэта, доносящійся изъ столѣтней дали съ такими словами, съ такимъ предсказаніемъ, звучитъ съ суровой поражающей, жуткой силой...

«Его дѣло обернется гибелью для него и его народа»...

Черезъ 101 годъ...

Въ 1916 году...

Сергей Городецкий

ТАЙНАЯ ПРАВДА

Жадными глазами пробегая прибавление к вечерней газете, только что купленной на улице, Костя подымался по лестнице к квартире своих друзей, у которых жил.

В донесении штаба Главнокомандующего опять говорилось о мелких стычках, и Костя был этим разочарован. Он ждал гигантского боя и представлял себя его участником с той страстностью, с какой мечтают только о том, что никогда заведомо не сбудется.

Костя был хром и уйти на войну не мог. Ушел на войну его друг по гимназии и университету, с которым он с детских лет жил душа в душу, Витя. Соединяло их сходство характеров, взглядов, привычек, и столь тесно, что, когда Витя ушел, его мать, вдова, предложила Косте поселиться у них.

В минуты, когда особенно злая досада брала Костю на то, что он не на войне, — он логически утешал себя тем, что его ближайший друг воюет. Но душа его на этом не успокаивалась.

Душа его так же, как и Витина, гармонически соединяла в себе созерцательность с любовью к деятельности. Часами друзья могли предаваться беседам о том, что дала человеческая мудрость, но как только они во что-нибудь уверовали, у них являлась потребность делом доказать свою веру. Но тут часто мешала Косте хромота. Он в делах отставал от друга. Зато сильнее развивалась в нем душевная жизнь, как всегда это бывает у людей с физическим недостатком. Впервые резко почувствовал эту разницу Костя по окончании гимназии. Они тогда решили, что России нужнее всего железные дороги, и оба выдержали в институт путей сообщения. Но как только начались практические занятия, Костя отстал и должен был переменить профессию. Он поступил на филологический факультет и увлекся психологией. Показалось ему, что в этой зачаточной науке больше, чем в какой-либо иной, он найдет применения и созерца-

тельной, и деятельной сторонам своей души.

Друзья виделись часто, и общая жизнь их, несмотря на различие ближайших интересов, опять начала налаживаться.

Но загорелась война, и Костя вторично — и на этот раз гораздо больней — почувствовал свою оторванность и от друга, который в первые же дни записался добровольцем, и от деятельной жизни, которая возникла в России с началом войны.

Было это ему тем мучительней, что никогда не представлялось и никогда в будущем не могло больше представиться такого яркого случая проявить согласованность веры с делом тем, кто ее, как Витя и Костя, имели.

Вервали Витя и Костя и до войны еще, что не во внешнем техническом прогрессе, достигнутом германской расой, просвечивает будущее Европы, а в глубинах славянского духа и в молодой русской культуре. Оттолковение славянства с германством встречено ими было радостно, и радостно готовы оба были бросить свои жизни на славянскую чашку бурно заколебавшихся весов мира.

Но исполнить это мог только Витя. Костя остался в бездействии и созерцании. Действием для него было только одно: взять ружье и идти. Правда, первое время он начал работу в комитетах, делал обходы, участвовал в кружечных сборах.

Но эти малые дела так непохожи была на те великие, о которых он мечтал, что он скоро оставил их.

Друзья переписывались, и связь между ними не прерывалась.

Временами подолгу не приходило писем от Вити. Тогда Костя вспоминал с тоской последнюю фразу, сказанную другом перед разлукой:

— Если я буду убит...

Конца не услышал Костя: тронулся поезд, поднялся шум, и тщетно хотел Костя хоть на лице друга прочесть конец его мысли. Бледное лицо Вити улыбнулось и скрылось. Не то виноватое, не то обещающее было выражение этой улыбки, и Костя хорошо его запомнил.

Пробежав газету глазами, Костя позвонил довольно робко.

Было уже поздно, и ему было неловко возвращаться в чужой, все-таки, дом, когда все, вероятно, спят.

К удивлению его, в передней был огонь, и из гостиной доносились голоса.

— Костя, это вы? — спросила Витина мать, Марфа Николаевна, — какие новости? Входите сюда и рассказывайте.

Костя разделся и вошел в гостиную нехотя, потому что его тянуло к меланхолическому уединению. В гостиной он застал небольшое общество. Вокруг Марфы Николаевны сидели: доктор Красик, человек, несмотря на свою старость, с ярко-черными волосами и, несмотря на жизнь в городе, с сильно загоревшим лицом; Васса Петровна, дальняя Марфы Николаевны родственница, которую Костя терпеть не мог за один вид ее — подобострастной приживалки; и Пенкин, товарищ Вити по институту, фатоватый юноша, очень тщательно причесанный и слишком всегда почтительно целующий ручки Марфе Николаевне. Его Костя тоже не любил.

Костю заставили рассказать ночные новости с войны. Он вяло это исполнил и хотел уйти, но Марфа Николаевна остановила его:

— Посидите с нами. Мы интересные вещи обсуждаем. Послушайте, что начала рассказывать Васса Петровна! Только ты с начала начни, — обратилась она к ней.

Костя со вздохом опустился в указанное ему кресло, а Васса Петровна начала снова прерванный приходом Кости рассказ:

— Мать моя, — начала она с некрасивым жестом, как бы вынимая из себя слова, и срывающимся тоном, как будто ей никто и поверить не мог, что у нее была мать, — мать моя жила отдельно, и я сама отдельно. Ложусь я спать, надо сказать, поздно.

Она улыбнулась, как бы извиняясь, что рассказывает про себя, девушку, еще не сознавшую своей старости, такие под-

робности, и продолжала:

— Часу во втором ложусь. А все в том доме, где я жила, ложились рано, и никто уж к нам прийти не мог. Дверь, конечно, на запоре и на задвижке, и на цепочке. Все, повторяю, спят. И вдруг звонок.

Она привскочила на кресле и энергично дернула воздух, как дергают ручку звонка.

— Я к дверям. Спрашиваю: кто там? Слышу, что никого нет, да и быть не могло.

— Так это кто-нибудь пошалил, Васса Петровна, вот и все! — вскричал весело путеец Пенкин и обвел всех глазами, делая их страшными, — а вот я расскажу...

— Нет уж, дайте мне кончить! — обиженно сказала Васса Петровна, вся покрасневшая от удовольствия, что она в таком светском обществе рассказывает такую интересную историю из собственной жизни.

— Докончу, тогда и замолчу!

— Досказывай, досказывай! — поощрила ее Марфа Николаевна.

— На этой лестнице только наша квартира была, и входную дверь внизу мы сами запирали, — рассказывала Васса Петровна. — Никакой хулиган не мог забраться и позвонить. Это был не человеческий звонок!

Она сделала паузу и продолжала пониженным голосом:

— Не к добру это, подумала я и заснула. Утром просыпаюсь — телеграмма от сестры, что мать моя умерла. Еду к ней и узнаю, что как раз в том часу, когда был звонок, она повесилась. Вот и говорите тут, что нет чудес!

Конец рассказа был неожиданным. Все молчали. Марфа Николаевна чувствовала некоторое неприличие в том, что ее близкой подруги мать умерла так вульгарно — повесилась!

— Теперь — ваш рассказ! — обратилась она к путейцу.

Пенкин, поклонившись ей, деланно-докладным тоном проговорил приготовленные слова:

— Мой случай занял бы в телепатии не первое место — где-нибудь рядом с случаем Вассы, если не ошибаюсь, Петровны. Случай следующий. Я сообщу его с краткостью до-

кумента. 13-го ноября девятьсот тринадцатого года — я помню эти числа, потому что цифры дня и года совпадают — умер мой дядя, с которым я виделся незадолго до его смерти. По записи сиделки, умер он половина пятого утра. Половина пятого утра я проснулся от того, что меня кто-то позвал громко, по уменьшительному имени, как меня звали в детстве. Вот и все. Час я заметил, взглянув на часы, висящие всегда ночью над кроватью. Явление, как видите, не очень сложное, но очень четкое.

Он кончил и, обедая всех глазами, остановился на докторе, внимательно его слушавшем.

— Очень интересно! — с таким видом, как будто съела конфету, поощрила Пенкина Марфа Николаевна. — Ну, что вы скажете на все это, доктор?

Доктор еще молчал.

Ненавидя молчание в своей гостинной сильнее, чем природа в своем царстве пустоту, Марфа Николаевна обратилась к Косте, скучавшему, выдавая скуку за задумчивость, в своем кресле:

— Вы знаете, наш доктор — необыкновенный доктор. Он друг факиров.

— Вот как? — немного заинтересовываясь, поддержал разговор Костя.

— Да! И он может прокалывать себе горло и щеки простой шляпной булавкой.

— Ах, какой ужас! — взвизгнула Васса Петровна.

— Не визжи! — остановила ее Марфа Николаевна. — Кровь не идет при этом. Вы, кажется, хотите что-то сказать, доктор?

Каждое слово подавая, как повар вкусное блюдо, доктор сказал:

— Только одно, Марфа Николаевна! А именно: не удивляйтесь, но изучайте. Прежним людям все, что мы знаем теперь, как азбуку, показалось бы чертовщиной. Поэтому и мы не должны считать чудесами случаи, рассказанные господином Пенкиным и Вассой Петровной. Кое-что в этой области мы уже знаем. Телепатия уже наука. Подобно тому, как радий испускает безостановочно лучи, излучает какую-

то энергию и ваш мозг. Мы только не умеем еще улавливать эти мозговые лучи. Только случайно, когда удачно складывается обстановка, мы их улавливаем. Но бесознательно мы и теперь кое-что подметили и употребляем в повседневной жизни. Мы любим картины великих художников. В них есть для нас притягательная сила. Должно быть, они хороши не только тем, что их краски красивы, но и тем, что на них наслои́лась энергия, излученная мозгом и глазами художника. По тому же самому волну́ю нас предметы старины и вещи великих людей. Все это еще не изучено. Но когда будет изучено, мы будем пользоваться лучами нашего мозга легче, чем почтой и телеграфом. Повторяю, нужно усовершенствовать восприимчивики, ибо отправители действуют с сотворения мира. Я думаю, что нынешняя война, когда психическая жизнь целых наций находится в повышенном возбужденном состоянии, даст много нового в области телепатии, даст много такого, перед чем рассказанные здесь случаи будут казаться детским лепетом. Я, по обыкновению, заговорился и произнес целую лекцию вместо одного слова. Я его повторю и им закончу: не удивляйтесь, но наблюдайте и изучайте, в мире много еще тайной правды, которую мы должны открыть. Засим, позвольте закурить.

— Пожалуйста! — сказала Марфа Николаевна, подвигая доктору пепельницу. — Вы удивительно интересно все объяснили!

— Не понимаю, — опять обижаясь, сказала Васса Петровна, — как это может мозговой луч за звонок дернуть?

— А вы наблюдали уже что-нибудь за время войны? Или, может быть, вам сообщали о каких-нибудь фактах? — спросил доктора Пенкин.

Доктор задумался, как бы скупясь рассказывать.

Костя был несколько растревожен рассказами доктора. Весь день сегодня был он в странной сосредоточенности. Не от того ли, что друг его думает о нем? Может быть, он сегодня в опасности? Но ведь большого боя нет. И потом вся эта телепатия вовсе еще не наука, как уверяет доктор. Просто это непроверенные факты. А странное состояние

сегодня от усталости. Надо пойти к себе в комнату и лечь спать.

Костя встал и начал прощаться.

— Как, вы не хотите еще слушать доктора? — задержала его Марфа Николаевна.

— Я очень устал. Я извиняюсь, — ответил Костя и пошел к себе.

Доктор не хотел больше рассказывать, как его ни упрасивали.

3

Костя прошел в свою комнату, которая прежде была Витиной, быстро разделся и лег в кровать. Но уснуть не мог.

— Переутомился, — подумал он, — надо забыть про то, что пора спать, тогда сон придет.

Он встал, надел халат и сел за стол.

Стол стоял посреди комнаты, все в нем было, как при Вите, только прибавился портрет Вити в рамке георгиевских цветов.

Небольшая зеленая лампочка уютно освещала комнату. В углах гнездились мягкие, зыбкие тени.

«Наверно, — подумал Костя, — когда являются привидения, так они начинают в тенях, то есть мы сами хотим что-то увидеть в тенях и, наконец, видим. Но почему я думаю об этом? Все глупые рассказы и докторские фантазии. Нужно же поддерживать разговор в гостиной! Лучше бы о войне говорили».

Костя придвинул блокнот, начертил течение Бзуры и стал проектировать обходы. Ведь стратегу можно быть хрым, и сладкая надежда чудом попасть в какой-нибудь штаб и там удивить всех знанием стратегии и талантом к ней, не покидала Костю. Он углубился в чертежи.

Прошло, — никогда не знал он сам потом, — сколько времени, и вдруг он поднял глаза по neodолимому внутреннему велению.

Перед столом, в нескольких шагах перед ним, стоял Витя. Он не из теней сгустился, не от стены отделился, а вошел, как входит всякий человек, и, поднимая глаза, Костя, казалось, успел заметить последние его шаги перед теи, как он остановился.

Он был совсем такой, как на вокзале в минуту отъезда, такой же бледный и с той же не то извиняющейся, не то обещающей что-то улыбкой. Впрочем, ничего частного ни в одежде, ни в выражении Костя не заметил. Костя увидел и понял только одно, что перед ним стоит Витя.

И в ту же минуту он услышал два слова, сказанные Витей обычным голосом, как он всегда звучал в этой комнате:

— Я убит.

И больше не было его в комнате. Он ушел так же мгновенно, как вошел.

В тоске, более сильной, чем страх, выскочил Костя из-за стола, пробежал по комнате и коридору до столовой. Никого нигде не было. Гости давно ушли, и огонь везде был погашен. Из комнаты Марфы Николаевны шел узкий красный свет. Это она молилась под лампадами о сыне своем.

Первым движением Кости, когда он опомнился, было броситься в ней, но у него не хватило мужества. Все, что случилось, было слишком реально для того, чтобы Костя саи мог не поверить. Но матери сказать он не решился.

В тягчайших муках дождался он дня. Под пыткой ожидания стал он жить. От Вити по-прежнему пришло письмо, но было оно последним. Через несколько дней он был опубликован в списке без вести пропавших. А потом стали известны и подробности того, как он погиб на разведке, в ту ночь, когда привиделся Косте.

Даже глядя на траур и слезы Марфы Николаевны, Костя не сказал ей про то, что было. Тайна явления друга стала самым важным в его жизни. Он усиленно стал изучать душевную человеческую жизнь, чтобы ускорить будущее, когда откроется тайная правда.

Юрий Zubовский

ЧУДО

(Рассказ офицера)

Как это ни странно, но война научила меня верить в Бога и в Его великий промысел. На первый взгляд, казалось бы, должно было случиться совершенно обратное явление. Среди грохота орудий, среди крови и тысячи случайностей, из которых каждая грозит неминуемой смертью, даже искренне и глубоко верующий человек должен был бы потерять веру и решить, что его жизнь и смерть зависят исключительно от каприза судьбы. Но это не так. Именно на войне начинаешь ясно понимать, что существом человека управляет та непостижимая для нашего рассудка Сила, имя которой — Бог. И если в нашей будничной жизни мы не знаем чудес, то там, на войне, они совершаются перед нами постоянно, и если мы не замечаем их, то происходит это лишь потому, что мы слишком маловерны, что в наших душах — обыденных и скучных — нет веры даже в самую возможность чуда.

Вспоминая сражения, в которых мне пришлось участвовать, я часто думаю, почему люди, совершающие самые рискованные, геройские поступки, оставались целы и невредимы, а люди трусливые, осторожные и осмотрительные погибают от шальной пули и осколка случайно попавшего в них снаряда? Воля ваша, но назвать это простой случайностью нельзя. В этом есть высшее, может быть, недоступное нашему пониманию, предопределение. И, если бы такого предопределения не было, то я не говорил бы сейчас с вами, а покоился бы в братской могиле на опустошенных войною полях Галиции. Меня спасло чудо.

Я, как вам известно, был прапорщиком запаса, и в начале же войны был призван в ряды действующей армии. Пришлось оставить службу, попрощаться с женой, дочкой Наташей — ей восемь лет — и немедленно отправиться на место назначения.

Полк наш одним из первых перешел австрийскую границу и в первом же сражении потерял почти половину людей, но нанес противнику большой урон и заставил его отступить. При отступлении австрийцы жгли деревни, зверски расправлялись с ни в чем не повинными жителями, вымещая на них свою бессильную злобу, а мы быстро прод-

вигались вперед, не давая неприятелю возможности оправиться и укрепиться на новых позициях.

Я скоро привык к своему новому положению и неудобствам походной жизни. О смерти думал меньше всего, может быть, просто потому, что не было времени думать и строго анализировать все события, а инстинктивный, безотчетный страх исчез сам собой.

Потрясла меня только смерть молоденького подпоручика Золотарева, которого я полюбил с первого знакомства, особенно потрясла потому, что Золотарев предчувствовал неминуемую смерть и говорил о ней, как о неизбежном факте, хотя и чувствовал, что жить ему хотелось страшно, и любил он жизнь, и дорожил ею.

Беспокоился я только о жене и дочери. Наташа — очень болезненная, чуткая, и мой отъезд сильно, глубоко взволновал ее.

В один из дней наш полк получил приказ выбить неприятеля из занятой им деревушки.

Дело предстояло очень серьезное, опасное; было ясно, что многие из нас сложат головы в этом бою, и в первый раз во все время я ощутил чувство, похожее на страх.

Тоскливо болело сердце, словно кто-то очень сильный медленно сжимал его твердой рукой, и в голове стучали острые маленькие молоточки.

Австрийцы оказали нам отчаянное сопротивление: мы уже приступом взяли деревню, но на улицах ее продолжался бой, неприятель стрелял из окон домов и с крыш.

Вокруг жужжали пули, как надоедливые комары, стояли раненые, умирающие и, чудилось, стонала сама земля.

Звенели разбиваемые стекла, во дворе жалобно и протяжно мычала запертая в сарай корова. Мычание ее — тягучее, нудное — почему-то особенно отчетливо врезалось мне в память.

Я был в самой гуще врагов, рубил, отдавал команду, которой, впрочем, уже никто не слушал, и в то же время чувствовал мучительный страх.

Наконец, оставшиеся в живых австрийцы, видя бесполезность сопротивления, побросали оружие и сдались в плен.

Бой кончился. На улицах деревушки валялись трупы и толпились сразу обессилевшие, усталые солдаты.

Меня давно мучила жажда, и я зашел в один из домов, надеясь найти в нем квас или воду.

Помню, отворил скрипучую, ветхую дверь и переступил порог... Было полутемно, хотя солнце еще не зашло.

Я зажег спичку и увидел, как навстречу мне из-за угла, где лежала всякая хозяйственная рухлядь, поднялся толстый австрийский солдат, держа ружье наперевес.

Может быть, потому, что его появление было для меня слишком неожиданным или по какой-нибудь другой причине, но вдруг я почувствовал, что тело мое потеряло способность двигаться.

Я застыл, как истукан, стоял и немигающими, остановившимися глазами смотрел на австрийца.

Он медленно приближался ко мне.

В это время в конце деревни вспыхнул пожар, его зарево озарило комнату, и я отчетливо увидел лицо врага. Оно было красное, с надувшимися на лбу жилами, с синеватыми отеками.

Ярко блеснул направленный на меня короткий штык его ружья.

Еще один момент и этот штык вошел бы в мое тело, но вдруг австриец покачнулся, вздрогнул и, глухо захрипев, выронил ружье и потом грузно рухнул на пол.

В этот момент я снова получил способность двигаться и наклонился к австрийцу. Он лежал без движения, и его сердце не билось.

Восторженная, незабываемая радость охватила все мое существо: я понял, что избежал великой, смертельной опасности, и остался и буду жить.

Отчего умер так внезапно хотевший меня заколоть австриец — я до сих пор не знаю. Спрашивал у нашего полкового врача, и он высказал два предположения: паралич сердца и апоплексический удар. Я думаю, что вернее — последнее, так как австриец был очень толст, и у него была короткая, бычья шея.

Уже много спустя, я получил письмо от жены, помеченное тем днем, когда произошел рассказанный мною случай. Прочитал, и для меня все стало ясно: я понял, почему я остался живым, почему ушел от неминуемой смерти. Жена писала:

«Сегодня Наташа весь день нервничала. После обеда я уснула, а когда на закате вошла в ее комнату, она стояла на коленях пред иконой и вслух молилась о тебе. Я даже запомнила слова ее молитвы: “Господи, спаси папочку! Господи, помоги, чтобы он остался живым и вернулся к нам. Я Тебя очень-очень прошу. Господи!”».

Вы понимаете, Наташа молилась на закате, молилась тогда, когда я подвергнулся смертельной опасности, когда неумолимая смерть уже занесла надо мной свою беспощадную руку.

И я понял: свершилось чудо. Бог услышал чистую молитву моей девочки, и спас ее папу.

Вы и теперь скажете, что это — случайность, случайное совпадение! Называйте, как хотите, а я верю, верю глубоко и непреклонно, что в тот день свершилось никем не признанное, но великое и святое чудо.

И сколько таких чудес совершается теперь! Верьте, не одна наташина молитва услышана Богом, и не одна Наташа молится за тех, кто грудью своей защищает нашу родину от нашествия грозного и беспощадного врага.

Лев Гумилевский

КАПЛЯ КРОВИ

I

Так же, как и все, стоявшие вдали от этого ужаса, не осязавшие его собственными нервами, не запечатлевшие его собственным мозгом, изживала Наташа эти дни. Вслух страстно негодовала, пожимала высокими плечами, сжимала голову длинными пальцами бледных рук:

— Господи, когда же это кончится... Ведь это ужасно, ужасно...

А внутри себя оставалась такой же далекой, равнодушно-холодной, как всегда, и к самим событиям, совершавшимся вокруг, относилась, как к сухим, далеким страницам истории, залитым таким же ужасом, такой же кровью, но потерявшим остроту настоящего, близкого, как все то, что окружает сейчас. И не верилось в ужас, в кровь и страдания так, как верилось в то, что сама видела, сама изжила.

— А ведь все это есть, есть...— пробовала она убеждать себя.

И строгий ум стройным порядком разнообразных мыслей сплетал из обрывков знаний уверенный, точный ответ:

— Да, да все это есть... Все есть... Все, о чем рассказывают знакомые, все, о чем пишут в газетах, книгах, журналах, все это есть... Все это совершается сейчас, сегодня...

А тело не верило.

Нежилась в теплом уюте постели, гибко вздрагивало в сыроватом, прохладном воздухе ванной комнаты, гордо вытягивалось в душистой воде, напрягаясь всеми мускулами, наливаясь горячей кровью, бившейся упругими ударами в голубых венах, четко чертившихся на бледно-матовой коже красивой шеи, бледных, изящных рук. Потом радостно затягивалось в душистые, тонкие ткани белья, платья и грелось в них и радовалось своей молодости, силе и красоте.

И как-то так странно случалось, что скользили глаза по ровным рядам газетных строчек, настойчиво силился мозг ярко отразить в себе живой образ и не мог и только рисовал тусклые картинки, которые были почему-то похожи на скверные иллюстрации, которые не трогали, не проника-

ли в глубину души, не сдавливали тоской ужаса сердце и исчезали, словно оставались на серых листах газетной бумаги.

И красивое тело было так же спокойно, гибко и свежо и не верило, не понимало, оставаясь таким же, как всегда.

Все же остальное Наташа делала так, как и все. Записывалась во все комитеты, ходила с кружками, набирала больше всех, участвовала во всех благотворительных вечерах. И ее знали, ее благодарили, ставили в пример другим:

— Вот они, русские женщины...

— Еще сильна духом Россия... Еще не умерли тургеневские женщины...

А Наташе было чуть-чуть стыдно, неловко за себя. Ей самой хотелось уйти от своей бодрости, понять и почувствовать все то, что совершалось, не только трезвым рассудком, но всем существом своим, так, как привыкла она чувствовать все другое: и душою, и телом, и каждым атомом своего существа.

Искала этого, таясь от других.

Провожали запасных. — Наташа шла на вокзал, слушала и вглядывалась и иногда радостно замечала, как пропитывалось сердце чужими рыданиями, как начинало томиться смутной тоской, как начинало вздрагивать тело.

Но еще только хотело оно верить, и не верило.

Познакомилась с молоденьким офицером в вагоне. Благословила его огромною, красною розой:

— Меня некому благословить здесь... — жаловался он ей, — посмотрите, у всех родные, знакомые... У меня никого нет...

И его яркие губы смеялись, а глубокие глаза плакали.

— Благословите меня...

И Наташа благословила. Перекрестила серьезно и отдала свою розу и сладко почувствовала его крепкий поцелуй на своей руке.

— Пишите мне...

— Какое странное знакомство... Может быть, не только в первый раз, но и в последний...

— В последний, — повторила Наташа и не почувствовала боли острой и колющей, которой ждала. Не понимало этого согретое поцелуем и близостью его, ее гибкое, крепкое тело и не томилось оно холодной тоскою предчувствий, не холодело перед лицом смерти, тускло рисовавшимся где-то в конце далекого пути, который расстилался перед благословенным ею юношей.

Но что-то осталось. Неясное и смутное, которое тревожило и росло, обостряя чуткость сознания, навевая трепетную грусть.

Ночью приснился сон. Яркий, как жизнь, четкий, как день.

Откуда-то из тумана затрепетала красными лепестками роза и осыпалась и из опавших лепестков сложила молодое лицо с алыми губами и окровавила его и изуродовала гримасою боли вспомнившуюся улыбку при плачущих глазах. И было все так ярко и четко, что Наташа проснулась и потом долго не могла заснуть.

А утром сна не забыла, но почувствовать окровавленного лица не могла. Потому что все же это был только сон. Только сон.

Но сердце, упавшее ночью, точно неловко поднялось опять и забилося не так уж упруго, не так радостно, как всегда. Не могло оправиться. Да и все это точно спуталось в клубок длинных нитей, которые распускались и сплетали незримо ее жизнь с жизнью юноши, спрятавшего на грудь ее розу, увозившего с собой ее благословение, память о ней, клочок ее жизни.

И показалось Наташе, нескладно, но ей понятно, что длинные нити — ее нервы, пронизывающие насквозь ее тело и мозг и что они куда-то вытягивались и уходили из нее и причиняли ей боль, которая все росла и росла. И эта боль уже мучила, и уже успела Наташа позабыть, как сама она искала этой боли, хотела ее, таясь от других.

А когда эта боль постепенно пропитывала все существо ее, начала въедаться в мысли и мозг, Наташа не только стала что-то понимать, но и вдруг почувствовала, как неудержимо быстро стала ломаться ее жизнь, как с страшною

быстротою выросла перед нею неясная тень и одела собою ее радости, начертила перед ней странный и жуткий путь, к которому она подходила.

И казалось уже ей, что не так гибко и сильно ее тело, не так далек от нее кровавый ужас и что только не хватает чего-то ничтожного, маленького, что мешало ей все понять, понять так, чтобы было больно от своего знания, от своей чуткости.

Она жадно читала газеты, спрашивала и слушала. Точно торопилась как можно более узнать того, что скоро она поймет, что будет не только знать, но и чувствовать, изживать, как те, кто все это осязал собственными нервами, кто все это запечатлевал собственным мозгом.

II

Робко вскрыла Наташа большой, неуклюжий конверт.

Наташа судорожно крепко впиалась пальцами в смятый листок и недвижно остановилась широко раскрытыми глазами на аляповатом пятнышке застывшей, потемневшей капли крови, носившей на себе след брызнувшей струи, неловко упавшей сюда.

И в то же мгновение со страшною, невыносимою болью у нее сжалось сердце, закружилось сознание и ушло все существо ее в одно пони мание этого маленького пятнышка.

Оно росло и круглилось, меняло очертания и страшило глубиной, неизмеримо уходившей вдруг без конца в даль. И оно росло, заволакивало всю комнату, весь мир, все сознание и смеялось громадной бездной, которая неудержимо влекла к себе и все разъясняла ужасом своей неизмеримости, в котором мог раствориться и незаметно потеряться весь мир...

И сжалась от крика из глубины своей, выявила испуганное лицо матери, которая кричала над нею так же испуганно:

— Ты что, Наташа... Что...

Наташа без стопа и звука упала ей на руки: точно отдалась бездне, падая в ее безмерную глубину.

И ощущение падения, без конца продолжавшегося, владело ею во все время ее беспамятства, от которого только усилиями врача ее освободили. Но когда к ней вернулось сознание, ее мозг не выдержал всей тяжести того, что она поняла и почувствовала. Словно рушилась стена, отделявшая ее от того, что совершалось, чего почувствовать раньше она не могла. Ничтожное прикосновение к ужасу в этом запекшемся пятне темной крови поразило ее и задавило всей той громадой ужаса, о котором она знала и которого не могла чувствовать всем существом своим.

Павел Полуянов

ЗОЛОТОЙ КРЕСТ

Знойный, жгучий день. С полудня хлынули потоки солнечного огня и залили всю дорогу, всю даль, все поле. Желтая дорога лежит сухая и грозная.

Каблуки солдат стучат, как о камень. И голубое небо, спускаясь на землю, бледнеет, желтеет и встает на горизонте бледным туманом. И в поле так грустно и зловеще — как будто великий гневный меч архангела рассек небо и оттуда льются безмолвные, жгучие потоки судного огня.

Устали солдаты. Еще долго идти до станции. И говорить никто не хочет, и песен никто не поет. И унтер-офицер Самойлов, молодой и стройный, уже не окрикает, не одергивает. Ему грустно что-то стало. Кажется ему, что идти долго-долго еще надо под этим суровым, не летним огнем и встречи теплой, нежной уже не будет.

Ни путника, ни проезжего не видать. Даже птиц нет. И когда вдали показалась фигура прохожего, как-то радостнее и легче вдруг всем стало. Наконец, поравнялись, встретились. И улыбка слабая и радостно-усталая мелькнула у солдат: то была молодая цыганка, пробиравшаяся в город. Зной на ее молодое, страстное лицо бросил строгие тени; утомленно и жутко смотрели черные глаза. Она пить очень хотела и с робкой надеждой, такой неуверенной, обратилась к Самойлову. Тот молча протянул ей фляжку и строго наблюдал, как трепетало черное горло у цыганки, жадно глотавшей теплую воду.

Возвращая фляжку, цыганка сказала:

— Даст тебе много награды Господь Бог. Дай, друг, погадаю.

Ленивые, усталые солдаты сдвинулись в кружок.

А цыганка грудным, глубоким голосом убежденно и торопливо-радостно говорила:

— Ай, хорошо тебе скоро, солдат. Счастливо и радостно будет.

И, проведя смуглым тонким пальцем по белым крестам, сверкавшим на груди солдата, сказала:

— И еще этого ты скоро получишь.

Все слушали ее внимательно и строго и верили и ждали, что она скажет еще. И многие завидовали Самойлову, а

он стоял, обжигаемый солнцем, и не радовался. Он также верил всему, что сказала ему цыганка, и знал, что скоро все это сбудется, но не было никакой радости в сердце.

И долго оглядывались солдаты на яркую, пеструю фигуру, удалявшуюся от них. Солнце все жгло и жгло.

Эта ночь была нежная, легкая. Влажный, страстный ветер приносил откуда-то удушливый и томный запах акаций, а с черного, глубокого неба как будто кто-то стряхивал редкие теплые капли дождя. И тихо было. Безмерная, грустная и страшная тайна повисла над лесом и ночь чутко прислушивалась.

И никогда не было такой странной тревоги в сердце Самойлова, как сегодня. Недавняя встреча в поле припомнилась и чудилось ему, что скоро, очень скоро его призовут за наградой.

И вот в этом молитвенном безмолвии ночи — черной и жуткой, огненный, золотой кнут ракеты прорезал черное небо, и золотой веер раскрылся вверху, озаряя макушки леса. И другая ракета сверкнула и третья. Тишины не стало. Ночь свернула темные свои крылья и неслышно ушла.

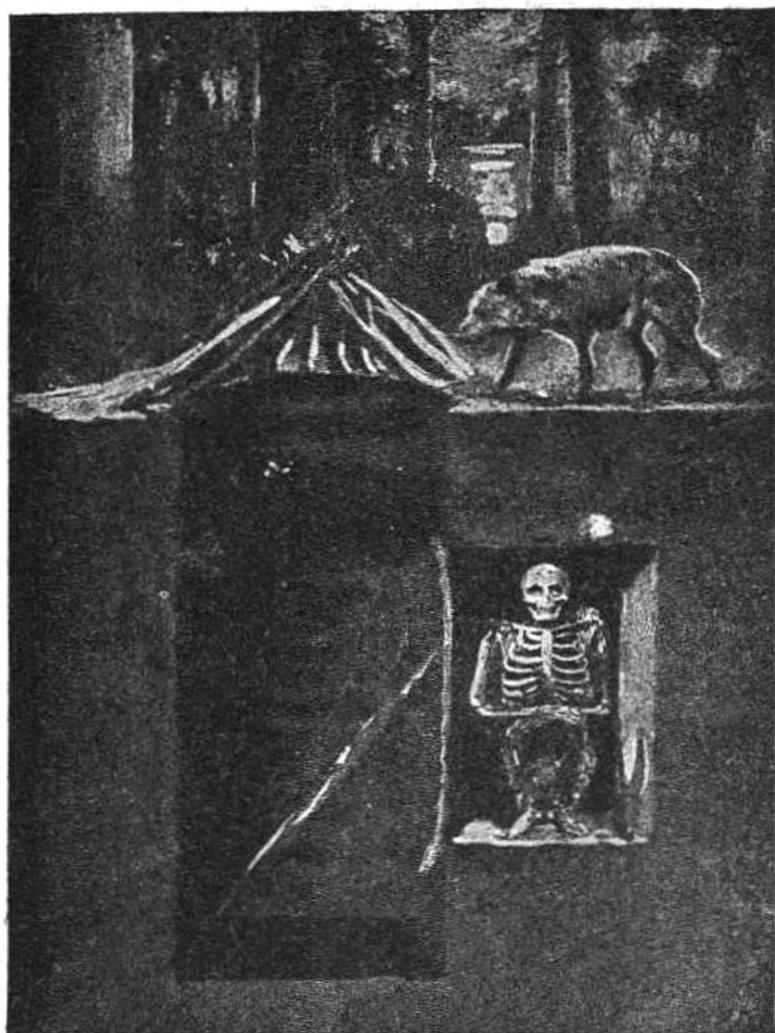
Ночи не стало. Но и дня не было — великий губительный огонь, ревущий и потрясающий, наполнил собою все, все заглушил. Пролетали откуда-то проклятья гигантские и губительные, огненные вихри со злобой безмерною и ужасающе сметали леса и горы. Страшные нитки пулеметов пронзали воздух, сплетались в клубки и выхватывали из тьмы свои жертвы. И в этом невыразимом огне, ужасе явственно слышно было ничем не заглушаемое ярое уханье, как будто чьи-то гигантские шаги сокрушали землю. И это шла Смерть. И приблизилась. И ночь смутилась и побежала прочь, роняя на хмурое небо обрывки своих темных одежд. В эти страшные часы и день смутился и медлил взойти над местом ужаса. А Смерть посылала свои мечи, и уханье ее шагов было все громче и громче.

Прошла теперь тревога у Самойлова и был покоен он. Он знал, что награда будет сегодня и, всматриваясь в горящую даль, ждал.

У опушки леса, под купой изломанных и спаленных сосен, стоит желтый бугорок. И крест. Крест желтый. Когда пылает закат, то бросает украдкой из-за щетины угрюмого леса несколько золотых лучей, и деревянный крест золотится и светится...



В газете было напечатано: «Г. губернатору препровожден георгиевский крест 2-й ст. для вручения родным старшего унтер-офицера 62 №-ского пехотного полка Василия Самойлова, павшего в бою 19 июля 19...г.»



**Таинственный скелетъ, замурованный
въ лѣсномъ подземельѣ. Найдень при
рытьѣ окоповъ на западномъ фронтѣ.**

Николай Михайлов

КАПИТАН ПЕТРЯЕВ

— Знаете, доктор, правда стала похожа на вымысел, а то, что кажется плодом фантазии, оказывается истинным бытием! Так было прежде, так есть теперь и так будет всегда в этом мире, особенно в такие эпохи, как наша, когда этот мир выбивается из сил, чтобы доказать, что он совсем не «лучший из миров». В туманную, слякотную, кислую ночь, какие выпадают у нас на фронте в январе, я, смертельно устав на работах по укреплению позиций, брел домой, т. е. в землянку близ штаба Н-ского стрелкового полка. Было темно и скользко. Ввиду близости немцев, нельзя было пользоваться фонариками. Я и мой товарищ, проваливаясь в незримые ямы, скользя на каких-то откосах, которых совсем не полагалось на знакомой нам дороге и не было днем, добрались наконец к себе. Наряду со всевозможными проклятиями по поводу каждого нового «крушения», мы говорили о своем, саперном, деле, о его огромном значении в нынешней войне, о влиянии, какое оказали на него современные технические успехи, о саперах-товарищах, павших на поле брани смертью храбрых.

— Главное оружие, главное орудие боя — есть человек, а современность стремится сделать главным орудием боя машину, предоставив человеку служебное, вспомогательное место, — говорил я, а мой приятель, совсем молодой мальчик, вздохнул и поддержал меня.

— Да! И этим убито много красивого и возвышенного в войне! И, может быть, кажущаяся неподготовленность наша в техническом отношении есть только бессознательный протест русского воинского духа, жаждущего борьбы людей в открытой схватке, вместо истребления их с безопасного расстояния машинами.

— Ну, это вы уж слишком! Хотя... доля правды есть!

Мы в это время дошли до землянки в лесу, где было наше обиталище. Освободившись от мокрых доспехов своих, мы сели за чай и ужин. Когда все было подано, мы дверь наружу, которая имела обыкновение от всякого пустяка со скрипом отворяться, привалили ящиком с провизией. Было жарко, тихо и почему-то грустно. Мы еще поговорили о своих работах; о том, что завтра надо послать за проволо-

кой, что надо как-нибудь отвести воду в окопе восьмой роты... и невольно опять вспомнили своих друзей, соратников.

— Да, — сказал мой приятель, уже лежа в постели на скамье, — Скобелев был прав, когда писал: «Лопата есть такое же оружие, как винтовка».

Наступило продолжительное молчание. У меня болела голова, тело ныло от усталости, но я не ложился и как-то вяло поправил его слова:

— Не оружие, а орудие борьбы; хотя, впрочем, все равно!

Он ничего не ответил... Я посмотрел на него, увидел, что он уже уснул, и хотел лечь сам, как вдруг за моей спиной, т. е. в дальнем от двери углу, раздался тихий, вежливый, но настойчивый голос:

— Не будете ли столь любезны еще раз повторить сии слова и имя полководца, их сказавшего, милостивый государь мой?..

Я обернулся и увидел сидящего на том месте, где раньше сидел мой приятель, офицера в шинели. Он держал фуражку в руке и, слегка привстав, глядел на меня.

Я при свете двух свечей различил капитанские серебряные погоны. Лицо с седеющими усами, красное от вечно-го загара, было спокойно-настойчиво, а голубые глаза смотрели чуть-чуть улыбаясь.

Я сначала хотел спросить, как он сюда попал, но потом все забывал об этом и каждый раз, как эта мысль приходила ко мне, какой-нибудь вопрос моего гостя заставлял меня забывать ее.

Да к тому же головная боль делалась прямо нестерпимой и жар у меня увеличивался. Я это чувствовал.

— Это сказал Скобелев. «Лопата — это такое же орудие борьбы, как и ружье!»

— Да, — сказал капитан, садясь. — И сие справедливо, особенно в настоящее время, насколько можно мне было заметить за кратковременностью пребывания моего в армии вашей. В мое время войска в бою, раболепствуя местным предметам, притягивались некоею бессознательною

силою к ним, ища найти за ними закрытие от огня. Ныне лопата освободила пехоту от рабства у закрытий... Да! Инженерное дело столь высоко стоит ныне, сколь мы и не помышляем!

— А откуда лее вы, капитан? Вы из отставки, что ли?

— Я? О, нет! Из отпуска, хотя и очень, очень продолжительного! Но сие не суть важно! Не будем касаться этой материи...

— Не угодно ли вам чаю... Или закусить? Я кликну денщика, — сказал я, подымаясь с места.

Но капитан жестом остановил меня... И я с удивлением увидел, под запахнувшей шинелью, какой-то необычный для меня мундир... Я изумился, но в том состоянии, в каком я находился, тогда все меня затрагивало как-то очень слабо, неглубоко...

— В далекой юности моей довелось мне быть во Франции... В Париже... Там знавал я некоего шевалье де Клерака... Сомневаюсь, чтоб ведомо вам было имя сего иноземного офицера... Он немало потрудился для фортификации... Вот бы его сюда! Много для себя поучительного он увидел бы! Вот он всегда и говорил: придет время, когда фортификация научится создавать столь мощные укрепления, что чрез их неодолимую преграду невозможно будет пробраться! Молод я был тогда весьма! А и тогда уже думал, громко сказать не решаясь, благопристойности ради, что нет неодолимых препятствий для должно настроенных и полных победоносного духа войск!.. Особливо же в штурме, да под огнем! Никакие «ласточкины хвосты» и прочая мудрость не удержат!

Я с усилием слушал его и вяло вставил:

— А вот и у нас порой говорят о неодолимых укреплениях у немцев.

Капитан заволновался.

— Малодушие, милостивый государь мой! Знаю я их хорошо, немцев, через всю их землю прошел с покойным государем Александром, — капитан привстал при этом имени и голос его зазвучал торжественно. — Да не столь высоко ценю их, как теперь их ценить стали! Наипаче же теперь,

ознакомясь со всеми их гнусными подвигами. Вот товарищ ваш давеча прав был в своих словах: сие не есть воинский дух издалека машиной истреблять... Да!.. А я, с соизволения вашего, к предмету разговора нашего первоначально вернусь... К фортификации, к полевой фортификации... Сколь великие успехи она сделала за последние сто лет! Сколь важна она для сохранения запаса мужества и силы духовной у солдата для атаки!.. Ныне полевая фортификация, смею сказать аллегорически, так сказать, и щит, и шлем для солдата. И всегда сии оборонительные оружия у него под руками...

— Под ногами, хотите вы сказать! —

— Как? — переспросил капитан. — Ах, да! Хе-хе-хе! Отлично удачное сравнение! Под ногами. Из земли ведь создают этот щит и щит!.. Выражение, достойное занесения в мою книжку...

Капитан опять распахнул шинель и, вынув книжку, записал в нее мои слова, все время посмеиваясь. Я заметил, что листы в ней были желты и потерты... Я перестал ходить по землянке и сел на ящик, прислонившись спиною к наружной двери.

Капитан наклонился ко мне и дружески конфиденциальным тоном продолжал:

— Да, но только смею предостеречь вас, молодой друг мой, от ошибки, свойственной и отменным умам и столпам, так сказать, полевой фортификации. Не имейте рассуждения о фортификационных сооружениях, яко имеющих значение и помимо войск, их занимающих, самостоятельно. Да! Фортификация для войска, а не войско для фортификации! Понеже дух животворный... А еще скажу вам, что, не беря назад слов своих о высоком положении нынешней фортификации, но сколь слаба она, сколь непрочна перед артиллерией современной! Сие уже не человеческое деяние! Сие гром небесный в руках человеческих! Да! Мало имел я времени, но, что увидел, убеждает меня в одном: как придумают способы возить пушки такой тяжести и величины, какие довелось мне видеть на станках, возить на колесах лошаадьми, так сказать, сделают из них полевую артилле-

рию, — полевая фортификация должна будет искать иных путей в области своей, дабы не оказаться смоковницей бесплодной! А проволока колючая? Что за мысль несравненная была применить сей слабый по виду предмет к полевой фортификации и сделать из него непреодолимое препятствие! Удивления и восхищения достойно!

Не смею льстить себя мыслью, что довелось вам читать труд мой по полевой фортификации. А называется он: «Сведения в полевой фортификации, необходимые для офицеров, предложенные господином Годи, приумноженные Геллером, переведенные и вновь дополненные капитаном Петряевым». Я и есть этот капитан Петряев... Прошу вашего снисхождения за то, что не назвал сразу же своего имени и чина вам, как хозяину. Но, видя в вас офицера чином ниже, ожидал от вас предварительной презентации... Но сие не важно... Я вскоре доставлю вам свою книжицу, ежели полюбопытствуете прочесть...

Я сидел, как в тумане... Голова перестала болеть, но какая-то слабость сковывала все тело.

Капитан встал и серьезным тоном сказал, глядя мне в лицо:

— Сердечно вас сожалею, господин поручик, но через полчаса вас потребуют на весьма опасное дело... Предваряю вас, что вы будете ранены, хотя жизни вашей не грозит опасность! Делаю сие, чувствуя к вам сердечное влечение... Вот уже за вами идут...

И я с изумлением увидел, что передо мною уже никого нет... Я сидел на ящике у двери наружу... Никто выйти не мог из землянки... Я встал и со странным чувством жути и смущения разбудил приятеля. Мне было не по себе одному...

И, поддаваясь какому-то необъяснимому чувству, сказал ему:

— Знаешь, сейчас меня потребуют на опасное дело... я буду ранен, но останусь жив... и уже солдат идет от командира полка за мною...

Не успел мой товарищ мне возразить, как в дверь постучали. Посыльный от командира полка принес пакет.

Меня требовали на опасное предприятие.

Я был ранен в руку и бок...

— Вы, доктор, говорите, что это не опасно... Я сам знаю... Я верю капитану Петряеву... А насчет книги его, тоже удивительная вещь.

Приходит ко мне в лазарет один знакомый казачий офицер и говорит:

— Нашел я в одном фольварке старинную книгу 1802 года! Посмотрел, по фортификации... Вспомнил вас, что вы сапер и любите всякую старину, и захватил...

Я посмотрел, это была книга, изданная в 1802 году, по полевой фортификации, капитаном Петряевым.

Борис Лазаревский

ЧАСЫ



Посвящаю А.И. Куприну

Из кольца, которое мне подарила мама, выпал камешек — хризолит, но, к счастью, не потерялся. Я вспомнила об этом, когда мы шли с Андреем по Невскому, и попросила его на минутку зайти в небольшой ювелирный магазинчик. Мы спустились по ступенькам вниз. За прилавком стоял рыжеватый еврей с худым испитым лицом и голубыми глазами. Он что-то писал на бумажке и, услышав звонок, радостно поднял голову, — вероятно, здесь давно не было покупателей.

Я вынула из портмоне кольцо и завернутый в папиросную бумагу хризолитик и начала объяснять, что нужно сделать. Андрей нагнулся над стеклянным ящиком и, прищу-

риваясь, рассматривал лежавшие в нем часы всевозможных величин.

Когда я кончила свой разговор с владельцем магазинчика, Андрюша сказал:

— Посмотри, какие симпатичные браслетные часы, вот эти никелевые, видишь, дамские и мужские, и ремешки на них точно кавалерийская подпруга в миниатюре.

Он поглядел на еврея и спросил, сколько стоят эти часы. В этот день Андрей получил довольно крупный для помощника присяжного поверенного гонорар и был склонен покупать все, нужное и ненужное.

— Ну, зачем тебе часы? У тебя же есть золотые, — произнесла я с легким укором.

— Не люблю я золотых, и ты сама хорошо знаешь, что они вечно находятся в ломбарде, — а этих уже никто не возьмет...

Хозяин магазина завертел головой, засуматошился, и быстро и ловко вынул и мужские и дамские часы. За мужские он спросил восемнадцать рублей, а за дамские пятнадцать. Андрей подумал и помолчал.

— Ну-с, а двадцать пять рублей за те и другие желаете?

— Избави меня Бог, невозможно... Только для вас, потому я вижу, что вы хорошие господа, я мог бы уступить эти часы, — пару за тридцать рублей.

Я ожидала, что Андрей будет торговаться, но он молча вынул из бумажника три десятирублевки и бросил их на стекло, затем взял маленькие часы и сам надел их мне на левую руку, а я надела ему мужские. Когда мы вышли на улицу, Андрюша сказал:

— Ну, вот это и будет наше обручение...

Я ничего не ответила. Было приятно слышать эти слова и немного страшновато, уж очень я любила свободу, и всякий намек на принадлежность кому-нибудь или чему-нибудь всегда царапал мое сердце. Однако, мне захотелось взять Андрея под руку, хотя мы шли от самого Адмиралтейства просто рядом.

Затем Андрей, не спрашивая меня, зашел в магазин Бормана и купил мятной карамели, которую я очень люблю.

Мы решили пообедать вместе. Взяли извозчика и поехали в мой любимый ресторан, может быть, потому, что бывала в нем всего три-четыре раза.

В общем зале народа было немного, и мы великолепно устроились за столиком у окна. Закусили салатом из омаров и оба пришли в отличное расположение духа.

— Ты знаешь, — сказал Андрей, — я совершенно искренне сказал, что это было наше обручение, не кольцами, а часами. Бог его знает, окончишь ли ты когда-нибудь свои курсы и повенчаемся ли мы, но фактически ты моя жена уже три года, самый близкий человек и, как я тебя мысленно называю, любимейшая из любимых.

Он проглотил несколько ложек супа и, нежно глядя, продолжал:

— Вот, с твоей точки зрения, часы — это только часы... Ты знаешь, я немного мистик и, по-моему, эта вещь нечто почти живое. Когда я отбывал воинскую повинность в Одессе, то в свободное время терпеть не мог гулять по большим улицам, а всегда уходил к морю, на Ланжерон. Здесь возле народных купален было место, где кончался порт и начинался открытый берег, сплошь занятый убогими, сколоченными из досок, рыбацкими жилищами, — их даже нельзя назвать домиками. В будний осенний день здесь можно было встретить только или так называемых босяков или рыбаков-греков, правда, давно обрусевших, — и хохлов. Все они жили дружно, иногда голодали, а иногда зарабатывали так, что на душу приходилось рублей по пятьдесят. И тогда начиналось пьянство и кончалось оно в большинстве случаев ссорами, во время которых самая отборная, самая, так сказать, художественная брань висела в воздухе. Ругаться разрешалось, как угодно, и даже считалось признаком хорошего тона и талантливости, но строго-настрого местный обычай запрещал в такое время упоминать имя Николая Угодника и затем слово «часы». Последнее обстоятельство меня очень заинтересовало, и однажды, катаясь по морю с моим другом, лодочником Мавриди, я спросил его: почему часы считаются священным словом. Мавриди был умный, полуинтеллигентный грек и объяснил мне, что,

зная, который час, каким-то способом можно вполне определить, находясь в открытом море, где восток, а где запад, и что часы не раз спасали многих рыбаков, так же, как и молитва Николаю Угоднику, икона которого есть на каждой шлюпке. И добавил еще Мавриди, что часы, которые человек долго носит, «знают и *чувствуют* своего хозяина», но в чем именно это выражается, грек не сумел мне рассказать, мотал головой, щелкал языком и только повторял: «это верно, это верно, уж я тебе не солгу, только не нужно об этом говорить».

Больше ничего я не сумел от него добиться. Возвращаясь с Ланжерона в казармы, я вспомнил, как однажды, еще во время студенчества, одна англичанка, которую мы называли просто miss, считавшаяся истеричкой и ясновидящей, взяла в руку мои часы, очень побледнела и минут через пять пробормотала: «вижу большое сражение... лежат окровавленные люди и лежит»... она назвала мое имя.

Естественница по образованию, я всегда подтрунивала над различными «верованиями» Андрея, но в этот раз мне стало неприятно. Я заставила себя улыбнуться и спросила:

— Ну, и что ж, исполнилось ее предсказание хоть отчасти?

— Конечно, нет, да и не могло исполниться, во-первых, потому, что я окончил университет и начал отбывать воинскую повинность уже после Японской войны, во-вторых, теперь я прапорщик запаса, и, вероятно, пройдут целые десятилетия, пока меня потребуют, а вернее, и никогда не потребуют, да и какой из меня военный, я уже так слился с адвокатским сословием и со своим делом, которое очень люблю.

После обеда мы поехали на остров и здесь в моей крохотной комнатке были счастливы до трех часов ночи, пили чай, ели фрукты, разговаривали о современном браке и о положении женщины вообще, и я убедилась, что даже самый чуткий и любящий мужчина никогда не поймет женской души. Андрей, например, интеллигентный и либеральный человек, горячо доказывал, что счастье женщины не в свободе, а в полном подчинении близкому человеку, и что

те женщины, которые чувствуют себя рабынями, переживают во много раз больше сладких моментов, чем меняющие возлюбленных и рвущиеся к полной самостоятельности...



Такие речи я прощала Андрею только потому, что они были абсолютно искренними и потому что он был Андрей.

Моя старушка-мать, узнав о нашей близости и о том, что я не хочу венчаться, пока не получу диплома, заплакала. Старшая замужняя сестра назвала меня нехорошим словом и теперь не переписывалась, а младший брат Сережа, гимназист седьмого класса, не хотел этому верить совсем. Вообще, с родными мне пришлось почти порвать, потому что никто из них не мог уяснить: почему я и Андрей, любя друг друга, живем на разных квартирах.

В своих письмах мама старалась убедить меня, что Андрей «подлец» и не хочет поселиться вместе, чтобы товарищи, присяжные поверенные, не презирали его за это. Но все

это было не так, и жили мы врозь потому, что хотели сохранить ту поэзию, которая нас соединила, на возможно долгое время.

* * *

Несмотря ни на что, я крепко любила своих родных и тот маленький уездный город, в котором они жили и где я окончила гимназию. Праздники Рождества и Светлого Воскресения и каникулы я всегда проводила возле мамы. Спорили и спорили и все-таки любили друг друга. Часто мама проклинала тот день и час, когда меня отпустила на курсы, сожалела о том, что я не вышла замуж за делавшего мне предложение после окончания гимназии околоточного надзирателя и ругала Андрея; однажды даже пыталась прочесть его письмо, но почерк Андрея — это нечто невообразимое, мама заподозрила, что он пишет на каком-то иностранном языке, не то по-итальянски, не то по-французски.

Мы жили на краю города, и гости у нас бывали редко, заходил только женатый студент Порохов, высокий, сильный и красивый; часто объяснялся мне в любви и жаловался на свою несчастную жизнь, но меня эти жалобы не трогали. Женился он на хорошенькой белошвейке, против воли родных, а затем ему стало скучно. Жена Порохова Любочка несколько раз передавала мне окольными путями, что плеснет в лицо серной кислотой и мне и мужу, если встретит нас вместе. Я этого не боялась. Была еще у меня подруга — ученица, девочка четырнадцати лет Аня Беляева. Она тоже мечтала о курсах, но родители ее хотели взять Аню из пятого класса и сделать из нее помощницу по хозяйству.

Нервная, худенькая, как спичка, Аня жалась ко мне и без слов просила защиты. Она часто видела фантастические и в то же время реальные сны.

В этом году, когда я приехала домой, мама встретила меня очень ласково, не понравились только ей мои часы

на руке, подаренные Андреем, она нашла, что девушке это не «подобаает». Скорее чутьем, узнала милая Анечка о том, что я в городе, и в первый же вечер прибежала к нам. Перещеловала мои глаза, губы и даже руки и быстро заговорила:

— А я вас сегодня видела во сне, да еще как.

— А как? — спросила я.

— Будто вы венчаетесь.

— С кем?

— А такой господин... — И Аня очень подробно и очень верно описала наружность Андрея и закончила: — а только страшный этот сон был, ужас какой страшный, хотя для меня приятный, я была вашей дружкой и вы мне сказали, что с этого времени мы никогда уже не расстанемся и что вы будете учительницей, а меня отдадите на медицинские курсы...

— Но почему же страшный? — спросила я.

— А потому, что когда священник начал перевязывать руки вам и вашему жениху, на материи этой я увидела кровь.

— Пустяки, — ответила я, — просто ты думала о том, что я могу скоро приехать и, вероятно, думала, что, может быть, я уже окончила курсы и вышла замуж, а портрет моего жениха ты видела в моей комнате на письменном столе и оттого так верно его и описала.

Аня только пожалала своими острыми плечиками и виновато улыбнулась. Затем пришел Порохов, как всегда трагически вздыхающий, и помешал нашей искренности.

Я отложила два экзамена на осень, и в это лето нужно было много заниматься. Май и июнь прошли незаметно. Единственным удовольствием было купанье. Однажды я заметила, когда мы с Аней входили в воду, что Порохов за нами подсматривает, и когда он пришел к вечернему чаю, не подала ему руки и объявила, что больше с ним незнакома.

Он заплакал, точно маленький, и ушел. Дня через три или четыре я, не знаю почему, проснулась ночью, поглядела на свои часы и увидела, что они остановились, пока-

зывая двадцать минут третьего. Это меня удивило; я хорошо помнила, что завела их с вечера, на всякий случай опять сделала несколько оборотов, и они зачихали монотонную песенку своей механической жизни.

Утром пришла с базара наша кухарка Варвара и с плачем рассказала, что сегодня ночью Порохов застрелился. Я остолбенела и не хотела верить, но через пять минут прибежала Анечка и подтвердила то же самое.

Протянулась ужаснейшая неделя. Совесть меня не мучила, но было слишком тяжело думать, что, может быть, я причина этой смерти. Хотелось пойти и поглядеть на лицо человека, любившего меня. Мне передала Варвара, чтобы я остерегалась, потому что вдова Порохова обещала меня убить. Мама буквально заперла меня в комнату и не позволяла ни с кем видаться, кроме Ани. Я написала длинное письмо Андрею и просила его утешить меня и разрешить мои сомнения. Послала его заказным и стало как будто легче. Затем я узнала, что вдова Порохова уехала далеко к своим родным и опять, как прежде, я стала выходить на улицу спокойно и купаться с Аней в реке.

От Андрея получилось длинное, прекрасное письмо, в котором он не винил меня ни в чем и называл Порохова психопатом, умолял приехать к нему на дачу в Финляндию и повенчаться. Не понравилось мне, что Андрей назвал психопатом покойного. Уехать я могла, но знала, что тогда мои два экзамена были бы отложены надолго, и ограничилась тем, что, в свою очередь, написала Андрею большое письмо, написала также и о том, — как ни с того, ни с сего остановились мои часы, и оказалось, что в это самое время и застрелился бедный Порохов.

Аня потряхивала головкой и таинственно шептала:

— Так вот почему я видела во сне кровь...

Но... дальше я сама поняла почему, и не только поняла, а и поверила...

В самый разгар июльской жары, когда только можно было дышать, сидя по горло в воде, а дома ходить в одном, надетом на голое тело, капоте, совсем неожиданно для нас, провинциалов, не читающих газет, загорелась война, и так

же неожиданно пришло письмо от Андрея о том, что он призван, и вся жизнь и все планы на будущее — круто изменились.

Мы с мамой начали шить белье, помогала и Анечка. И в это время случалось, что в течение двух или трех часов не произносили ни одного слова. Только по вечерам мы по-прежнему беседовали с Аней. Четырнадцатилетнее дитя призналось мне, что любит выгнанного из седьмого класса реального училища Колю Остроухова, который записался вольноопределяющимся и тоже уехал на войну. С этого момента милая девочка стала мне как будто еще ближе. Мы вместе ожидали писем, она просила своего Колю писать на мое имя, но в течение целого месяца получили только две открытки. Андрей писал очень коротко и заканчивал фразой: «Береги часы».

Иногда я завидовала Ане, ее способности — видеть во сне многое, хотя теперь она далеко не обо всех своих сновидениях рассказывала мне.

Разлуку она переносила гораздо бодрее, чем я и, случалось, говорила:

— Я знаю, его не убьют, и вернется он офицером...

Об Андрее она ничего не говорила, но безумно обрадовалась за меня, когда я, наконец, получила большое закрытое письмо. Обе мы посылали в действующую армию: папиросы, шоколад и носки. С каждым днем я убеждалась, что Аня действительно любит своего Колю; это меня удивляло и трогало. Мама умоляла меня в этом полугодии совсем не ездить в Петроград, ей казалось, что над городом будут летать цеппелины и бросать сверху бомбы, из которых какая-нибудь может попасть в меня.

Мысль приехать и не увидеть Андрея была тяжкой, и я сама не настаивала.

Самым тяжелым было читать перечень раненых и убитых. Прежде я никогда не думала о немцах, а если и думала, то считала их очень учеными и миролюбивыми. Я понимала, что война — это война, но не могла понять того, что делали немцы в Бельгии. Не могла понять цели разрушения такой красоты, как Реймский собор. И вся Германия

теперь представлялась мне в виде огромного пьяного мужика, от которого разит пивом, вдруг обезумевшего, ворвавшегося в чистенькую квартиру большого художника и с бешенством уничтожающего картины и статуи, все то прекрасное, в чем он никогда не понимал толка и не мог понять своей особой головой, привыкшей только думать о чисто практических, низменных вопросах: как удвоить число производимых кирпичей, как сделать пушку, которая одним выстрелом могла бы уничтожить сотни людей... Особенно непонятно было разрушение Лувенской библиотеки. После Андрея на этом свете я любила больше всего книги.

«Бедные книги и редкие рукописи, за что погибли они?» — думала я.

В это лето я была свободна, как птица, и несчастна безгранично. Иногда вспоминались слова Андрея о том, как ошибаются те женщины, которые думают, что их счастье в свободе. Каждый следующий день тянулся медленнее. Вечера стали длинными и холодными. Почти целый месяц не было ни одного письма, только в конце сентября — одна открытка, торопливая, написанная карандашом. Нехорошие предчувствия давили днем и ночью. Если бы не милая Аня, я бы, вероятно, психически заболела.

Прежде сон меня успокаивал и давал силы, а теперь я просыпалась через каждые два-три часа и глядела на часы, иногда целовала их. Мне бывало легче, когда у нас ночевала Аня. Проснусь и слышу ее нежное дыхание и успокоюсь.

Третьего октября мне было особенно тяжело, и я упростила Аню не уходить на ночь, но за ней прислали из дома, и ничего нельзя было поделать. Я хотела уйти в мамину спальню, но постеснялась сказать, что мне одной бывает страшно.

Я проводила до угла улицы Аню.

Звездная, последняя, неожиданно теплая, совсем не похожая на октябрьскую, ночь ласково прикрыла наш маленький городок. Стучал в колотушку возле собора сторож. Мы не встретили ни одного человека. Анечка была особенно нежна и ласкалась ко мне.

Попрощались мы как будто перед моим отъездом на курсы, чуть не плакали обе. Я в последний раз поцеловала ее и зашагала обратно. Мысль — встретить какого-нибудь хулигана — не пугала меня, но я почти побежала, чтобы скорей услышать мамин голос.

Стараясь овладеть собой, я на ночь умылась и раздевалась нарочно как можно медленнее и спокойнее. Когда легла, то не повесила часы на стенке, как это делала всегда, а положила их на столике рядом, попробовала почитать газету, потом бросила ее и потушила свечку.

Я несколько раз перекрестилась, отвернулась к стенке и закрыла глаза. Против ожидания, я сейчас же и заснула, и мне далее не приснилось ничего особенно страшного: сначала мимо ехали всадники, бодрые и лихие, затем загромыкала артиллерия.

Помню, как блеснула обнаженная шашка офицера и ясно услышала голос, крикнувший: «С передков». Я ждала, что вот-вот начнется сражение, и не только не испугалась, но даже заинтересовалась необычным для меня зрелищем. Засуетились люди, пушки повернулись дулами в противоположную сторону, лошади с зарядными ящиками отъехали. Совсем ясно возле одного из орудий я увидела Андрея и бросилась к нему.

В эту минуту раздался такой взрыв, от которого стало больно не только ушам, но и всему организму.

Я проснулась и села на кровати, ошупью стала искать спичек, не могла их найти. Вскочила и босиком пробежала к маме, схватила с киота коробочку и, задыхаясь, вернулась к себе, чиркнула спичкой и увидела, что и спички, и чугунный подсвечник, и часы валяются на полу возле кровати.

Вероятно, я сама свалила их во сне, когда мне показалось, что я бегу к Андрею, а стук чугунного подсвечника обратился в целый взрыв. Я подняла и зажгла свечу и с ужасом увидела, что стекло на часах разбилось вдребезги, и они остановились на половине второго.

Целый день я старалась привести в порядок свои мысли и нервы. Пришлось принять очень много брома. К вечеру отупела. Затем мне стало как-то уже все все равно. Поче-

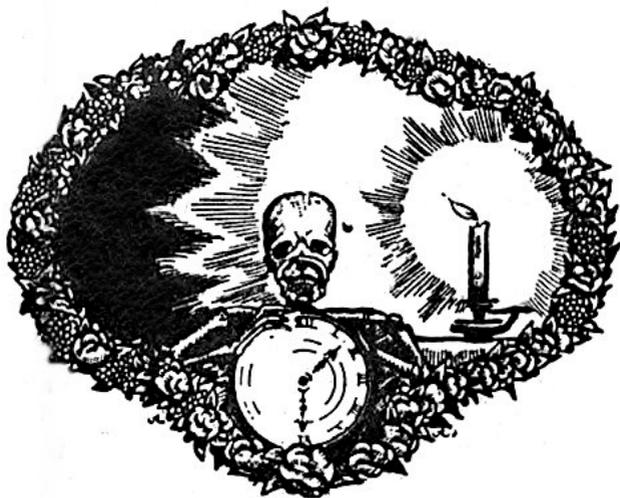


му-то не хотелось отдать часы в починку, и я не сказала ни маме, ни даже Ане о том, что они разбились.

Ровно через две недели я прочла в списке убитых имя и фамилию Андрея, выронила из рук газету, не знала, что мне делать.

Но жить осталась.

Не скоро, но я узнала наверное от одного из раненых, привезенных в наш город, что Андрей погиб в ту самую ночь, и я не сомневалась, что случилось это ровно в половине второго.



Рюрик Ивнев

ЕКАТЕРИНИНСКИЕ ЧАСЫ

Прощаясь со своей женой, Алексей Павлович сказал:

— Я бы очень просил тебя забыть все басни о часах. Все, что мы вычитали в дневнике бабушки, очень интересно с точки зрения исторической, как показатель того мистического настроения, которым были охвачены высшие круги Петербурга, но придавать этому дневнику особенное значение было бы наивно и смешно.

Этими часами я очень дорожу, иначе я бы их выбросил, чтобы ты не волновалась так сильно. Во всем виноват Крундышев. Он так заразительно смеялся, когда, разбирая бумаги, я прочел ему несколько страниц из пожелтевшей старенькой бабушкиной тетради, в которой повествуется о загадочных свойствах этих часов, что я сейчас же поделился с тобой своей находкой.

Мы с Крундышевым выступаем вместе и в дни, когда я не смогу тебе писать, он будет сообщать тебе обо мне. Не грусти же и не думай о мрачном.

Старые екатерининские часы, о которых говорил Алексей Павлович, собираясь на войну, висели в столовой и с ними были связаны необычайные легенды, о которых повествовала в своем дневнике бабушка Алексея Павловича, Анастасия Филипповна Лещеева.

Вот что было записано в этом дневнике:

13-го декабря 1802 г. с. Прохладное.

Со слов покойного мужа моего записываю историю часов, находящихся в роде Лещеевых без малого сто лет.

Муж мой, генерал-майор Дмитрий Васильевич Лещеев, перед смертью рассказал мне, как были его прадеду, отставному поручику Александру Лещееву подарены эти часы блаженной памяти императрицей Екатериной Второй. В ту пору семья только что вышедшего в отставку поручика Лещеева жила около Москвы и чуть не навлекла на себя справедливый гнев покойной императрицы, посетившей свою любимицу, Елисавету Афанасьевну Лещееву, рожденную княжну Рубецкую, в ее подмосковном имении. А виною это-

го гнева был юродивый Феофанушка, встретивший императрицу плачем и криком одержимого: Гости едут! Быть беде! Быть беде!.. Императрица, испуганная неожиданными выкриками, перепугалась, и потому была не в духе до той поры, пока не случилось событие. благодаря которому она изволила переменить свой гнев на милость. Перед самым обедом поручик Лещеев, сам пожелавший прислуживать своей матушке-царице, спас случайно ее величество от несчастья. Когда государыня подходила к предназначенному ей креслу, вдруг со стены во время звона упали столовые часы, и если бы не ловкость и находчивость поручика Лещеева, подхватившего их над самой головой государыни, то часы эти могли причинить ушиб ее величеству. Этот случай сразу изменил настроение государыни. Она засмеялась и, сказав: — Вот какую беду пророчил юродивый, — стала предлагать милостивые вопросы присутствующим и расспрашивать Лещеева про хозяйство. Прощаясь, благодарила за гостеприимство и сказала, улыбаясь:

— Из Петербурга пришло вам подарок в ознаменование моего спасения...

Через две недели с нарочным была прислана государыней посылка. В посылке оказались чудные столовые часы с музыкой. Но когда эти часы были водружены в столовую, обнаружилось, что музыка испорчена, часы же шли исправно.

Нарочный рассказал, что у ворот его встретил юродивый и так плакал и выл, что лошадь, испугавшись, шарахнулась в сторону. Может быть, от этого сотрясения и испортилась музыка. Все Лещеевы были немало огорчены этим неприятным приключением, но Елисавета Афанасьевна очень просила ни слова не говорить государыне об испортившейся музыке часов и благодарила в пространном послании свою царственную благодетельницу. Эти часы сделались какими-то загадочными, точно они имели свою тайну и свято ее хранили. В них не было ничего особенного, но все чувствовали какую-то робость, когда прислушивались к их ровному, спокойному ходу. Точно они были живым понимающим существом, которое вечно молчало, но все слушало и

понимало. Феофанушка же прямо видеть не мог этих часов. С ним делался всякий раз припадок. Он визжал, выл и, ударяя себя в грудь, заливался слезами. И, действительно, в скором времени случилось событие, которое оправдало все неясные предчувствия и смутную боязнь этих часов всеми обитателями лещеевского дома. Перед самой смертью Александра Лещеева часы вдруг заиграли... И так жалобно, что у всех защемило сердце. Это было во время болезни Лещеева. Через несколько минут он умер.

Елисавета Афанасьевна рассказывала детям, что эта музыка в ее ушах звучала очень долго еще после смерти мужа.

В следующие после смерти Александра Лещеева годы часы шли хорошо, но музыка не играла. Дети: Владимир, Алексей, Павел и Мария уже начали думать, что музыка часов им послышалась перед смертью их отца и одна Елисавета Афанасьевна продолжала утверждать, что часы играли. Вероятно, никто бы не поверил, и об этой истории все бы забыли, тем более, что когда застрелился Павел Александрович — никто не слышал жалобной музыки. Но через двадцать лет часы заиграли снова. На этот раз они заиграли за несколько минут до смерти старшего сына Лещеева — Владимира Александровича.

После этого в семье Лещеевых начали усиленно говорить об этих загадочных часах и об их изумительном свойстве играть в минуты смерти старшего в роде Лещеевых. Действительно, не было случая, чтобы часы ошиблись. Они, точно живое и многознающее существо, предрекали своим жалобным звоном последние минуты жизни обреченного.

Глафира Ивановна Лещеева (бабушка Дмитрия Васильевича) хотела снять со стены эти ужасные “каркающие”, как она говорила, часы. Но муж ее не особенно верил в это предание. Он воспротивился, говоря:

— Лучше узнать заранее о своей смерти. В эти несколько минут, который мне останутся жить, я смогу напоследок хлебнуть бокал вина и с этим благородным спутником отправиться к праотцам.

Глафира Ивановна потом рассказывала, что когда ее муж был в севастопольской кампанин, то за два дня до того, как

она узнала о его смерти, часы заиграли, но как-то отдаленно, неясно. Она даже не поняла, в чем <дело, и стала> ждать дурных вестей. Действительно, он был убит в этот день, как оказалось после».

Алексей Павлович смеялся над суеверием своих предков, но все же какое-то неясное чувство щемило его сердце, когда он прощался со своей молодой женой Ольгой Константиновной Лещеевой. В глубине души он очень раскаивался, что рассказал жене об этом предании их рода и что показал ей дневник бабушки.

2

Была очень ненастная пора. Усадьба Лещеевых одиноко стояла среди огромного сада. Качались от ветра сухие и высокие деревья. Падая снег и таял. Ольга Константиновна сидела в столовой за чаем. Сегодня она была одна. Ее компаньонка, мисс Плигвис, уехала на целый день в город. Ольга Константиновна досадовала, что она осталась одна сегодня, в этот ненастный и жуткий вечер. Она куталась в оренбургский платок и смотрела грустными глазами в окно. В сумерках все предметы были причудливыми и странными. Вдруг какое-то странное состояние овладело ее душой. Она встала и быстро прошла по комнате, точно ища чего-то. Ее взгляд упал на календарь. Почему-то красная страница поразила ее. Сегодня что? Ах, да, сегодня воскресенье...

Точно огонь горит эта красная страница календаря. Красные цифры и буквы: Сентябрь. 15. Воскресенье.

Ольга Константиновна подошла к окну. Прикоснулась лбом к холодному стеклу. И вдруг сквозь темноту она увидела что-то блестящее, яркое, точно блеск сабли.

— Господи, до чего я нервной стала, — пробовала себя успокоить.

И вдруг в разыгравшемся воображении промелькнула фигура Алексея. его тусклая сабля, страшное лицо чужого всадника, вот оно склоняется близко, совсем близко к мило-

му лицу Алексея. Вот в чужой руке мелькает что-то страшное, неумолимое, острое. Господи! Помоги!.. Может быть, он сейчас умирает там...

Сейчас должны заиграть часы — молнией пронеслось в ее мозгу.

И вдруг Ольга Константиновна быстро, точно опасаясь какой-то неминуемой опасности, кинулась к столу, стала на него и сорвала со всей силы старинные екатерининские часы.

Раздался страшный звон. Разбитые часы упали на пол.

Ольга Константиновна, затаив дыхание, стояла, боясь пошевелинуться, и вдруг она ясно услышала протяжный, грустный, неумолимый звон, грустную и большую музыку, исходящую из осколков разбитых часов. Ольга Константиновна почувствовала какую-то боль в сердце, острую, пронизывающую. Ей сделалось дурно.

3

В четверг, 19-го сентября, мисс Плигвис вошла в комнату Ольги Константиновны с распечатанной телеграммой в руках. Ольга Константиновна лежала на кровати заплаканная, бледная.

— Он убит? — тихо спросила она.

Мисс Плигвис подала ей телеграмму.

В ней было написано:

«Мисс Плигвис, передайте осторожно Ольге Константиновне, что Алексей зарублен 15 сентября, вечером, во время разведки на моих глазах саблей венгерца. Одно утешение — я отомстил. Венгерца пал от моей руки. Крундышев».

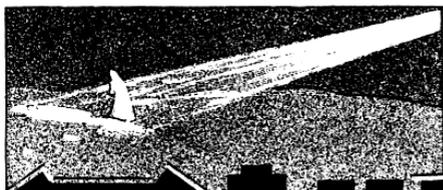
Въ безсонныя ночи, когда Вильгельмъ мчится съ одного фронта на другой.



Рисунокъ для «Огоньна» худ. Н. ПЕТРОВСКАГО.

Антон Оссендовский

ТЕНЬ ЗА ОКОПОМ



Разказъ
А. ОССЕНДОВСКАГО.

Рис. В. СВАРОГА.

ТѢНЬ за окопомъ

1

Прапорщик Дернов сидел в окопе и курил трубку, по временам ежась от холода, неприятно щекочущего спину. Тут же рядом стоял солдат и в щель между двумя камнями, защищавшими его голову, смотрел за окоп. Солдаты стреляли редко, лишь отвечая на утихающий огонь немцев. Бой шел жаркий и длился дней пять без перерыва. Днем и ночью окопы засыпались шрапнелью и ружейными пулями. Много ужасов, много тяжелых потерь пережил полк. Несколько раз ходил он в штыки, но возвращался, потому что приходилось брать пулеметы «в лоб». Много офицеров было убито, много ранено, и прапорщику Дернову пришлось командовать ротой.

Прапорщик совсем обстрелялся, и хотя он был всего три месяца в бою, не только не обращал никакого внимания на свистящие или, как говорили солдаты, «зудящие» пули, но не мог себя представить заведующим вексельным отделом одного крупного банка.

Вспомнив об этом, он поднялся и, отстранив солдатика, сам заглянул в щель окопа. Со свистом и жужжанием пронеслись две пули, почти задев камни, за которыми скрывалась голова прапорщика.

Дернов усмехнулся и подумал:

— Это тебе не банк, где выглядываешь из-за решетки и любезничаешь с крупным клиентом! Этот «клиент» повни-

мательнее будет, да зато и с ним надо ухо держать востро!

Прапорщик отошел от щели, и его сейчас же сменил солдатик. Положив ружье на окоп, он, быстро прицеливаясь, послал противнику пять пуль и, присев на землю, начал заряжать винтовку.

— Красавец! — окликнул его Дернов. — Сбегай-ка, поищи мне фельдфебеля!

— Слушаюсь, ваше благородие! — ответил солдатик и, согнувшись, побежал вдоль окопа. В перерывах между выстрелами слышно было, как под его ногами чавкала грязь и плескалась вода.

Скоро пришел фельдфебель, старый, сверхсрочный служака. Он шел, прихрамывая, так как накануне прусская пуля пробила ему ногу. Рана была легкая и, перевязав ее, фельдфебель остался в строю.

— Ну как, Архипов? — спросил его Дернов, протягивая резиновый кисет с табаком и кремневую «зажигалку».

— Покорнейше благодарю, ваше благородие, так что проживет скоро! — ответил фельдфебель.

Прапорщик указал ему на вывороченный при углублении траншеи пень, и фельдфебель, усевшись, начал набивать трубку и с удовольствием затянулся дымом. Оба молчали, только изредка Архипов густым басом журил солдат:

— Чего ты, дурашка, торопишься, ровно на пожар? Знай, бери настоящий прицел и стреляй толком... Эй, ты, Храмов, что ли, там? ты чего зря голову суешь за окоп? Гляди у меня!

— Молодцом солдатики-то у нас! — заметил, чтобы сказать что-нибудь, фельдфебелю Дернов.

— Чего уж лучше, ваше благородие! — ответил Архипов, и глаза его заблестели. — Ведь, почитай, пять дён не спят, сухарями питаются, чаю не видят; снизу — вода, сверху — вода... Герои они, ваше благородие! Откуда это в народе берется?!..

— Как откуда? — удивился Дернов. — Ты должен знать, Архипов, ведь ты сам — герой. Ранен ты, а вот ходишь и службу исправляешь!

— Я-то чего герой?! — в свою очередь удивился фельдфебель. — Я свое ремесло исправляю и все тут. А они-то, кто из городов, кто от сохи оторваны, кто старый, кто совсем молодой еще, а ровно всю жизнь в бой ходили...

Архипов с восхищением повел взглядом вдоль извилистой линии окопа, и любовно заискрились его глаза. Однако, по привычке начальства, он тотчас же крикнул:

— Ты опять! Федотов, стукни, щелкни по дурьей башке Храмкова, чтобы за окоп не лез. Вот так. Молодчина!

Фельдфебель и Дернов расхохотались над усердием неуклюжего Федотова, щелкнувшего красной, широченной ладью по темени любопытного Храмкова.

Начинало смеркаться. Вдали уже сделались заметными вспыхивающие огоньки выстрелов. С севера ползла темная, мягкая туча.

— К снегу это, ваше благородие! — сказал Архипов и с трудом поднялся. — Покорно благодарим за табачок.

— Ты куда? — спросил Дернов.

— Обойти окоп надо и с того флангу покараулить. Кабы немцы, как снег пойдет, чего доброго и в атаку не пошли! — сказал фельдфебель и заковылял, ворча по дороге на солдат.

— Не в бабки играешь, не с девками шутики шутишь, а потому гляди в оба!..

Архипов угадал. Туча напозла, и вдруг, словно распоровшаяся перина, рассыпалась снегом. Не прошло и часа, а на окопы на пол-аршина нанесло снегу, и вся равнина между русскими и немецкими траншеями покрылась белой, пушистой пеленой.

А снег все падал и падал.

Архипов ковылял от солдата к солдату и всем говорил:

— Снег сгребни с гребня окопа, снег сгребни! А то понадеешься, что головы не видать, а пуля сквозь снег пролетит за милую душу, да и стрелять тебе же легче... Снег сгребни!..

Подходя к флангам, где свалены были камни, фельдфебель садился на них и сквозь щели между камней внимательно осматривал все поле, где легло уже так много

людей, и вглядывался в сгущающийся мрак. Он успокаивался, убеждаясь, что там клубится лишь снег и маячат в нем темные, чернее ночи провалы и расселины. Но они тотчас же исчезали и закрывались зыбкой завесой падающего снега.

Фельдфебель, однако, скоро опять начинал тревожиться и опять всматривался в темноту и мчащиеся в ней снежные призраки.

Он шел по траншее и говорил:

— Не зевай!.. Не зевай!.. Время опасное, кабы атаки не было... Гляди, не оплошай!...

Он пошел к прапорщику и рассказал ему о своей тревоге.

— Может быть, и попытаются! — согласился Дернов. — Ну что же, примем, погреемся...

Привычка следить за собой тотчас же подсказала Дернову, что в этих словах не было ни напускного молодечества, ни искусственного веселья, и опять удивился прапорщик.

— Как перерождает людей война! — подумал он и вспомнил университет, разные служебные огорчения и жизненные неприятности и неудачи, казавшиеся раньше тяжелыми и важными, а теперь ничтожными, жалкими и смешными. Прапорщик обошел солдат, приказал на всякий случай взять полный запас патронов и сказал фельдфебелю, чтобы выставить за камнями оба пулемета.

2

Он медленно пошел к своему месту, где уже обзавелся целым хозяйством. В углублении окопа, словно на полке, лежала отлично пристрелянная кавалерийская винтовка, большой резиновый кисет с табаком, ящик с сотней патронов, карманный электрический фонарь, бинокль и розовая эмалированная кружка, в которой, вместо чая, лежало несколько кусков отсыревшего шоколада и солдатский су-

харь.

Не успел он набить трубку, как к нему, несмотря на рану, прибежал Архипов.

— Ваше благородие! Быть атаке: разведчики ползут, осматривают поле...

— Где? — спросил, сразу оживляясь, Дернов.

Они подползли к выходу из окопа. Снег слепил глаза, и сначала ничего нельзя было разглядеть, но потом глаза привыкли.

— Вот там, там, ваше благородие... — шепнул фельдфебель. — Вот... шевелятся...

Вдали, шагах в шестистах, от окопа медленно двигалась тень.

Она то поднималась и тогда казалась огромной на тусклом, беспокойном от снега небе, то припадала к земле и почти бесследно исчезала.

Было что-то таинственное и жуткое в этом движении черной тени, бесстрашно идущей между окопами по полю со свистящими над ним пулями. Какой-то вызов и насмешка чудились в этом беззвучном и быстром шествии человека или призрака по земле, давно пропитанной кровью убитых. Временами казалось, что тень отделялась от земли и плавно колебалась в белесых, мятущихся полосах снега. Тогда фельдфебель крестился, а Дернов в изумлении пожимал плечами.

— Дать залп? — спросил, наконец, Архипов.

— Постой! — шепнул прапорщик. — Ведь там один... человек?

— Один... — кивнул головой фельдфебель. — А других, может быть, не видно...

— Да... — протянул Дернов.

В это время на какой-то сопке вспыхнул прожектор. Юркий и любопытный луч пробежал, как лезвие ножа, по окопу и, скользнув по равнине, на одно короткое мгновение осветил одинокую фигуру, пробирающуюся по полю, между ведущими бой позициями.

Дернов и Архипов даже воскликнули от удивления и переглянулись.



Это была, несомненно, женщина. Она шла, и платье ее и платок развевались по ветру. Ее заметили, однако, и в немецких окопах.

Окопы тотчас же расцвелись красными и желтыми огнями выстрелов, и затараторил пулемет. Взвилась ракета и красным огнем осветила часть поля. На побагровевшем небе Дернов еще раз увидел загадочную тень неожиданно появившейся здесь, под огнем, женщины. Она пробежала несколько шагов и вдруг пошла спокойно.

Прожектор с наших позиций начал бегать по полю. Женщина была видна, как на ладони, но немцы не обстреливали ее. Она шла, скрытая небольшим косогором, и подвигалась в сторону немецких траншей.

Дернов и Архипов переглянулись.

— Сколько шагов, по-твоему, до нее? — спросил прапорщик.

— С 1500 будет!.. — ответил тот. — Что она, ведьма, что ли?

— А наш прицел какой? — перебил старика Дернов.

— Сами знаете, ваше благородие! — ответил Архипов и вдруг сразу понял и пытливо заглянул в глаза прапорщику.

— Значит, фланга немцы не берегут? — шепнул Дернов. — И можно, пожалуй, оттуда незаметно подойти...

Чувствуя на себе взгляд Архипова, прапорщик взглянул на него в упор и спросил:

— Попытаем счастья?..

— Так точно, ваше благородие, надо попытаться!.. — обрадовался фельдфебель.

Дернов по телефону объяснил положение полковому командиру, и тот разрешил его роте ударить в штыки, в случае успеха обещав тотчас же пустить в атаку весь полк.

Дернов обрадовался.

Мешал прожектор. Он освещал всю равнину, нащупывал каждый камень, всякий куст. Надо было успокоить наблюдателей и заставить перевести луч в другую сторону.

Архипов побежал вдоль траншеи.

— Не стрелять! Не стрелять! — приказывал он, и его

приказание повторяли взводные:

— Не стрелять!.. отставить!

Русский окоп внезапно замолчал.

Стал утихать огонь и с немецких окопов. Вскоре редкие выстрелы и те умолкли. Там, видно, были рады отдохнуть.

Прожектор, словно удивляясь, пошарил, побегал по полю и, убедившись, что здесь все спокойно, ускользнул куда-то.

Между окопами залегла темнота, глухая и слепая.

И в этой темноте бесновались лишь мчавшиеся куда-то с легким шорохом снежные призраки. Поднялся ветер и погнал на русский окоп тучи снега, вздымая с поля легкие, пушистые сугробы.

3

— Готовься! — скомандовал Дернов и, увидав смотревшего на него Архипова, поднял кверху руку.

— Готовься! — зашептали солдаты, осматривая сумки с патронами и штыки и туже подтягивая пояса. — Господи благослови!..

Рядом с прапорщиком вырос, вынырнув из темноты, горнист. В руках у него тускло отсвечивал рожок.

— Сигнала не будет, — сказал ему Дернов. — Стройся!

Солдаты построились и медленно начали выходить из окопа.

Сам Дернов выводил их и велел перебегать, не шумя, к тому месту, где он видел тень женщины, бесстрашно шедшей под пулями.

Архипов оставил в окопе пятьдесят человек и велел им изредка по одному стрелять, как это делалось без перерыва пять дней.

Солдаты осторожно тянули за собой два пулемета.

Дернов понимал, что идет на отчаянное дело, какое не каждый день может случиться, но он смело вел людей, веря в успех. Ему казалось, что он — волк, и что крадется за

ним стая сильных злых и смелых волков, и ему становилось все веселее и как-то смешнее.

Вот начался косогор. Из немецкого окопа щелкнули два выстрела в ответ на одинокие пули, свистящие из русской траншеи. Но огней не было видно.

Отряд шел под прикрытием косогора.

— Ваше благородие, — зашептал подошедший к Дернову фельдфебель. — Шагов четыреста осталось, а то и меньше. Послать бы вперед разведчика Семенова с товарищами.

— Пошли, и я с ними пойду, — сказал Дернов.

Он знал Семенова. Это был худой, чернявый солдат из запасных. Загорелый и вихрастый, с черными, бегающими глазами, он до войны служил егерем у помещика и привык выживать и «скрадывать» зверя. Свои способности он обнаружил с первых же боев и, подобрав себе пятерых товарищей, всегда ходил на разведку.

Косогор начал понижаться и вдруг сразу оборвался. Разведчики замерли; впереди, в сотне шагов, мелькнули редкие огни выстрелов, а потом снова все смолкло.

— Назад! — шепотом скомандовал Дернов, но едва успели они скрыться за косогор, из темноты вынырнули две черные тени и начали медленно приближаться к ним.

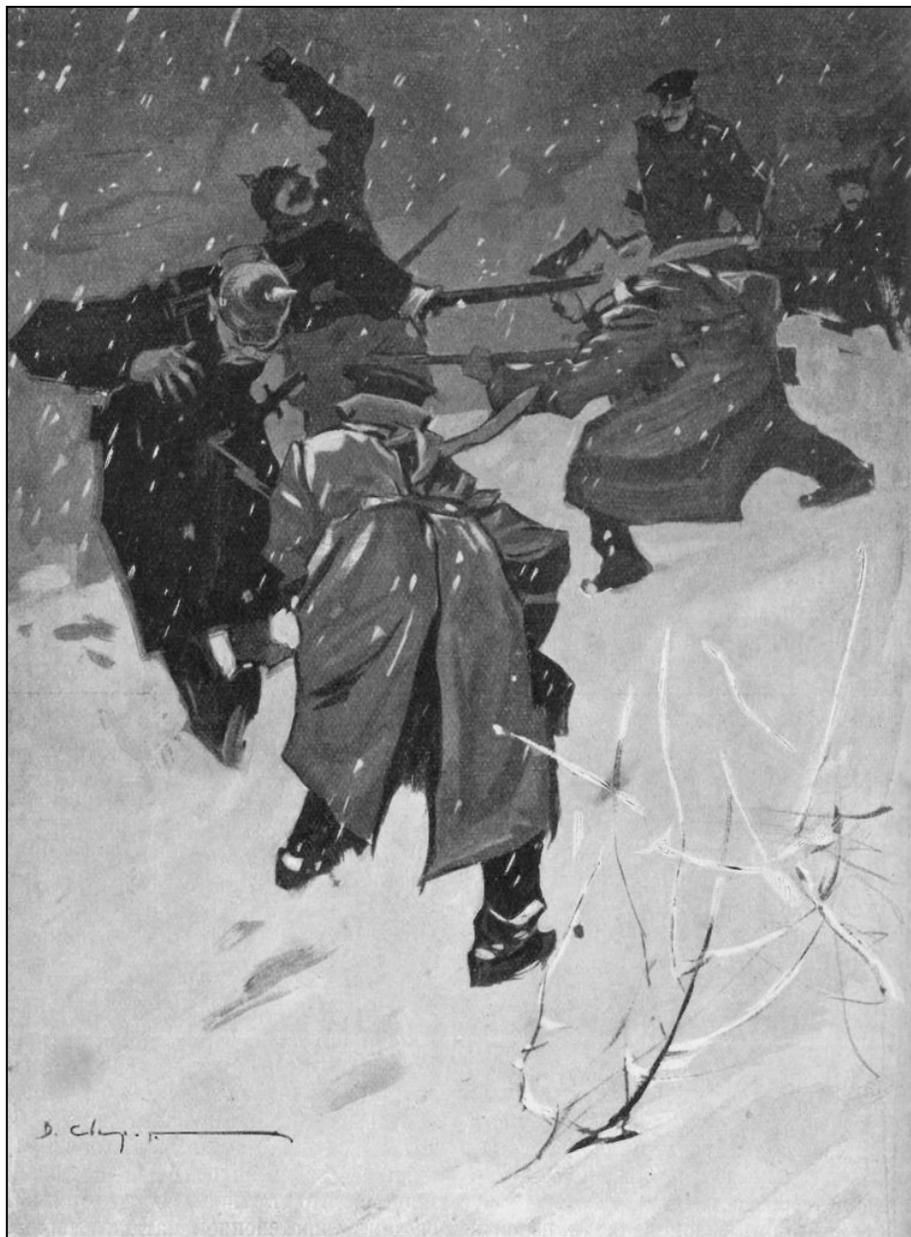
Дернов понял, что место это охранялось немецким патрулем. Разведчики притаились за камнями и кустами.

Когда два прусских солдата, запорошенных снегом, поравнялись с ними, Дернов шагнул вперед и негромко, но повелительно сказал:

— Halt!

Привыкшие к повиновению и удивленные, дозорные остановились, но в это время Семенов и другой разведчик ударили их штыками. Дернов даже услышал, как заскрежетал штык, скользнув по кости. Немцы рухнули на землю, а снег заглушил падение их тел.

Через несколько минут весь отряд был уже в ста шагах от первой немецкой траншеи. Солдаты, закусив губы и крепче сжимая в руках винтовки, смотрели, как вспыхивают огоньки прусских выстрелов по окопу, где они оста-



вили часть товарищей, поддерживающих «для виду» вялый огонь, и весь полк, готовый придти к ним на помощь.

Дернов и Архипов поставили на пригорке пулеметы и вернулись к отряду.

Пройдя еще около полусотни шагов, Дернов выхватил шашку и бросился вперед, крикнув:

— С Богом! Ура-а-а!

Тяжелым, громыхающим эхом покатилося сзади за ним «ура» и торопливый топот ног.

Черные фигуры кричащих солдат начали обгонять его, впереди раздались тревожные голоса и беспорядочная стрельба.

Солдаты ворвались в траншею. Шел рукопашный бой. Били штыками и прикладами... Дернов больше ничего не помнил. Он только знал, что свое дело он сделал. Дальше — Бог и судьба! Он догнал и рубнул по спине старавшегося перелезть через скользкий окоп офицера. Увидев убежавшего пруссака, выстрелил в него из нагана... Потом «ура» усилилось, заговорили пулеметы и Дернов понял, что полк бросился в атаку. А потом вдруг все смолкло — и «ура», и крики погони и страха, и торопливые, сухие выстрелы в упор.

Солдаты окружили Дернова и смотрели на него радостными, яркими глазами, с еще непогасшими огнями, загорающимися в бою.

— Ваше благородие, ваше благородие, взяли! — крикнул, протолкавшись сквозь толпу солдат, Архипов.

Дернов только теперь понял все. Он провел рукой по глазам, снял папаху и широко перекрестился.

— Спасибо, товарищи! — сказал он, не надевая папахи.

— Рады стараться! — гаркнули веселые голоса.

Но замолчали, так как Архипов уже ворчал.

— Занимай окоп! Не в избу, чай, пришли! Первый взвод, выставь дозорных! Петренко, возьми людей, да пока не рассветает, повыкидывай немцев. Не развешивай ушей, ровно лопухи, Дмитриев! Н-ну, живо у меня!

Дернов получил благодарность от полкового командира и ждал утра...

При первых его отблесках он увидел целые груды убитых немцев, сваленных за окопом. Лужи крови стояли еще в траншее, валялись ружья, опрокинутые в свалке пулеметы, штыки и каски.

Три ряда сильно укрепленных проволокой и кольями окопов были заняты полком.

Когда совсем рассвело, он увидел, что внизу, в глубокой долине, стоит деревня.

Черный, старый костел, видно, недавно сгорел и еще дымился.

Десятка три изб, крытых соломой, ютилось вокруг, а дальше чернелась стена леса и блестело незамерзшее озеро, окаймленное рамой белого снега.

На улице копошились три женщины, заходя во дворы покинутых и разграбленных изб.

Дернов улыбнулся и подумал:

— Одна из этих женщин привела нас в немецкие окопы...

Но его думы были прерваны взводным. Он бежал, размахивая руками, и еще издали кричал:

— Ваше благородие! Командир дивизии на машине едут!

Дернов бегом пустился к своей роте, но прибежал тогда, когда генерал уже выходил из автомобиля и принимал рапорт командира полка, указывавшего на козырявшего на бегу прапорщика.

— Лихое дело, прапорщик, лихое, настоящее дело!

— Спасибо, богатыри! — весело крикнул генерал.

И вдоль всего окопа пронеслось:

— Рады стараться, ваше превосходительство! Ура-а!

Дмитрий Дорин

СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ

— Ну и положеньице, черт подери!.. Гадай — не гадай, все одно не нагадаешь, куда пропал этот Постольников... Хоть бы одного драгуна выслал для связи, — бурчал молодой, безусый прапорщик Рыков, то и дело поглядывая на часы-браслет и мерно измеряя тонкими журавлиными ногами длину грязной, холодной халупы, одной из немногих, стойко выдержавших отличный ураган немецких чемоданов.

Метель — какая-то смесь жесткого снега с песком и непроглядная темень — только и могли заставить нас выбрать себе приют в этой брошенной халупе, смотревшей еще не совсем разложившимся покойником.

Зачем и для кого судьба пощадила наше убежище от полного разрушения?.. Может быть затем, чтобы, возвышаясь над грудой развалин деревушки С., наша халупа ярче оттеняла весь ужас окружающего, бросая достойный укор в ненужном варварстве над мирными панами обнаглейшему и до цинизма одичавшему врагу, или для того, чтобы дать случайный отдых усталым воинам, застигнутым, как и я со взводом драгун, острой метелью, — едва ли знала сама халупа.

Так или иначе, не все ли равно, но войдя в нее, какое-то неприятное чувство заставило меня содрогнуться и утомленный мозг начал назойливо работать над разрешением загадки судьбы, и отвлечь свою мысль на что-либо другое я был положительно не в силах, да к тому же, будучи мистиком от природы, я невольно склонялся в этом вопросе в сторону тайны, связавшей меня ни с какой-нибудь другой уцелевшей деревушкой, а именно с деревушкой С., около которой застигла нас неожиданная непогода.

Стараясь пересилить себя, я развернул карту и вымерил направление, по которому корнет Постольников, тоже со взводом драгун, шел на соединение со мною у дер. С., откуда ранним утром нам предстояла разведка правого фланга немцев.

По числу верст Постольников уже добрых два часа назад должен был быть на высоте д. С., но часы уже показывали одиннадцать, а об нем ни слуху, ни духу.

Я заглянул в окно.

Метель усиливалась, барабаня хрусткой дробью по закоптелому стеклу. Тьма прятала ужас разрушения, по унылый ветер тянул похоронную песню, переходящую вдруг в дикую свистопляску, и еще ярче вползал в душу ужас мертвой деревушки и гнет неизвестности...

«Развороченные черепа», вспомнилось ни с того ни с сего название книжонки какого-то футуриста, попавшей мне в руки прошлой мирной зимой.

— Знаете что, Аркадий Иванович... мне кажется, что кайзер Вильгельм ни больше ни меньше, как представитель исковерканного футуризма... Не думаете ли вы, что с моментом его падения потерпят фиаско и наши бредо-футуристы и мы, наверное, уже не будем баранами, чтобы ходить на концерты и вечера этих акробатов рекламы... А может быть, они и сами образумятся... Как вы думаете?

Рыков сонно обвел меня взглядом и вместо ответа махнул рукой, широко зевнув.

Я опять заглянул в окно и опять темень больно ударила меня в глаза, поползла в голову и отразилась в мозгу бледновосковым трупом.

— Черт свадьбу правит... — вырвалось у меня. — А ведь, милый прапор, к утру-то нам необходимо соединиться с Постольниковым, не то, как дважды два-четыре, мы не только ничего не разведем, а еще вмажемся в грязную историю... Не пойти ли сейчас пошарить к фольварку Д., — добавил я, сознавая, что поднять в такую погоду людей, — немислимо... Кони уже двое суток не расседывались, а люди засыпали в седле.

Рыков снова взглянул на часы и зашагал:

— Как хотите, Дмитрий Петрович... Все равно ничего не выйдет из этого рысканья, шарь, не шарь... Гораздо проще и полезнее, по моему, поставить пост у околицы, да и ахнуть на боковую... И люди поспят, да и кони отдохнут. Ну, а к утру и за дело можно взяться... А теперь...

Сильный крик ветра заглушил его последние слова и я, невольно вздрогнув, приказал расседывать коней, а людям устроиться на отдых.

.

Утихала ли, или усиливалась метель, — разобрать я не мог. Острый песок слепил глаза, обжигал лицо и мой верный Рекс едва волочил ноги, насторожив уши и глубоко втягивая ноздрями морозный воздух, видимо, прилагая все усилия, чтобы отыскать заметенную дорогу.

Вокруг меня встала непроницаемая стена темени. Где, зачем и сколько уже времени я плутал в этом хаосе, — я не знал, но оглянувшись понял весь ужас своего положения. — Я был один.

— Рыков!.. Прапорщик Рыков!.. — что было силы кричал я, но вместо ответа только громче и жалобней завыл ветер... Жуть проползла с головы до ног... Я хотел поднять руку, чтобы обтереть капли холодного пота, выступившие на лбу, но чья-то тягучая, нудная сила парализовала мое усилие и, беспомощно опустившись на шею Рекса, я поцеловал его и бросил повод, дав волю верному товарищу.

— Что же теперь делать? Как собрать растерявшийся во мраке взвод? — произнес я вполголоса, будто ища совета Рекса, но какое-то полное безразличие ко всему окружающему, ко всей жизни и смерти затемнило мой вопрос безответностью. Приятное, еще незнакомое чувство охватило меня и я, закрыв глаза, погружаюсь в nirвану покоя, как вдруг меня ужалила некрасовская фраза.

«А Марья стояла и стыла в своем заколдованном сне», — вздрогнув и открыв нечеловеческим усилием глаза, я увидел перед собой серую фигуру, бледным пятном прорезавшую тьму.

Секунда и рука моя, брошенная к эфесу шашки, беспомощно опустилась... Ни шашки, ни револьвера не было... Все, все, что в походе так дорого, кажется, дороже самой жизни, все забыл я на столе в проклятой халупе.

Видя беспомощность своего положения, я решил дорого отдать жизнь и, склоняясь на седле в сторону фигуры, что есть силы рванул ее за лапу башлыка, намереваясь задушить нежданного врага.

Башлык сполз и передо мною открылось, освещенное внезапно выглянувшей луной, бледное со скошенной улыбкой лицо драгуна Кирюхина, из взвода Постољникова.

— Ты откуда?!..

— Так что, ваше благородие, нарвались мы, значит, на засаду или секрет какой, не знаю... Только много их там, немцов-то... Теперь их благородие со взводом в крайней избе деревни, что у фольварка-то Д. и засели... Отстреливаются... Хотели мы прорваться, да их благородие решил вас подождать... Зачем, говорит, своих зря губить, да немца выпускать... Вот, вы, говорит, увидите, что нас нет, и верно, подойдете сами, так тогда немца-то с обеих сторон взять и легко, да так взять, что ни один из них не удерет... Больно надеялись на вас... А немца-то там, поди, без мала эскадрона два наберется.

— Да ты сам как выбрался-то? — перебил я Кирюхина.

— Охотником взялся, разыскать вас, да вот Бог не привел... Трех-то, что догнали меня, я срубил скоро, а четвертый — как это я шагнул его по голове, пошатнулся, свалился с коня. Ну, думаю, пронесло, а он, верно, жив остался, да и угодил мне в самый затылок из винтовки... Так и уложил на месте, окаянный...

— Что ты, Кирюхин... бредишь, что ли?..

— Никак нет... — слабо простонал Кирюхин и, подняв на меня заледенелые, мертвые глаза, пошатнулся и упал...

Я вскрикнул и проснулся.

Сальный огарок догорал, бросая бесцветные пятна на грязную стену халупы... Револьвер и шашка лежали на столе... Рыков, подложив под голову обмотанное тряпьем полено, спал врястяжку на полу и звонко храпел... Тут же клевал носом дежурный драгун.

.

В первую минуту я обрадовался, что все это было только сном, но, вспомнив слова Кирюхина и указание его на

фольварк Д., что лежал от деревушки С. верстах в шести-семи к северо-западу, я глубоко уверовал, что во всем этом есть какая-то загадка, разгадать которую стало необходимостью.

Было четыре часа. Метель немного утомилась и только ветер в трубе пел теперь еще жалобней и вся халупа со своей ружлядью стонала скрипуче-нудно, будто вспоминая о тихом былом вздохе бледными отблесками догоравшего огарка. Надо ехать.

В ту минуту я видел всю картину томительного ожидания нас Постельниковым, считавшим, может быть, по секундам, время неравной борьбы.

— Рыков!.. Вставайте скорей!..

Аркадий Иванович взглянул на меня вытаращенными глазами и укоризненно-недовольно пробурчал:

— Эх, Дмитрий Петрович, всегда вы штуку какую-нибудь смастерите. Ни свет — ни заря... На дворе дьявол с чертом горох молотят, а вы им на рога сами хотите напороться... Опять, видно, предчувствие ваше... Ей-Богу, вам надо отдохнуть недельки две... Так ведь от вас одно пустое место останется... Исчезнете... — тоном, не терпящим возражений, — закончил Рыков, любивший иногда корчить «бывалого», что ему совсем не удавалось и ругань его никогда не походила на ругань, так же, как и философия, — на философию.

— Об этом, Аркадий Иванович, потолкуем после, а теперь, пожалуйста, торопитесь.

За окном уже фыркали кони, позванивая мундштуками, и было слышно, как унтер Глыба подшучивал над любителем поспать хохлом Нищенко.

Готовые всегда и ко всему мои молодцы ни на минуту не задавались вопросами, куда и на что я веду их. Они знали, что без необходимости я не нарушил бы их давножданый отдых и теперь только ждали приказаний.

Потрепав гриву Рекса, я, уверенный в реальности пережитого во сне, набросал несколькими словами обстановку, в какой находился Постельников, и закончил:

— Подойти к фольварку должны тихо. Следи зорко за рукой. Махну — рассыпаться без звука, кошками вокруг край-

ней халупы, кольцом. Шагов за двести остановиться... Где нельзя подойти, брось коня и ползи... Без стрела... Слушать крепко... Свистну три раза и все, как один, лети птицей к халупе... Гикай крепче... Пусть думают, что целый полк за нами... Стреляй только тот, кто без коня, остальные, — рубить без пощады... Поняли, братцы?..

— Поняли, — тихо-серьезно ответили мои молодцы.

— С Богом, за мной! — тихо скомандовал я, взяв прямое направление на северо-запад.

По остротам драгун моего маленького отряда, которые сыпались несмотря на то, что отдохнуть им в эти трое суток так и не удалось, я видел, что настроение их бодрое, и сам крепко сжимая рукоятку шашки, горел желанием скорей встретиться с противником...

Медленно прошли версты три. Рыков несколько раз пытался навести меня на разговор обо всей, как он выразился, фантастической задаче, но мне казалось все настолько реальным, что всякие объяснения были излишни и я молчал.

Вдруг Рекс захрапел и круто отшатнулся в сторону. На нашем пути лежала темная фигура, наполовину загороженная метелью.

— А ну-ка, ребята, посмотри, кто это лежит... Не Кирюхин ли! — скомандовал я, не глядя на труп, но будучи совершенно уверен, что не обманулся.

— Что вы, Дмитрий Петрович, какой леший Кирюхина сюда забросит... Скажете тоже, — возразил Рыков.

Драгуны спешили, окружили лежащего и, когда Глыба перевернул его вверх лицом и шепотом сказал:

— Так точно, Кирюхин и есть, — все как один сняли шапки и перекрестились.

— Ничего не понимаю... Это невозможно... Да объясните же, наконец, Дмитрий Петрович, что это такое? — подъехал ко мне Рыков.

— Ничего... Я уже был здесь, когда вы спали... Остальное — потом... А теперь, — вперед, ребята, за мной... Кирюхина всем везти по очереди...

Молча ехали драгуны, без шапок, за мной, а у меня щемящий ком подкатывался к горлу и слезы навертывались на глаза, до того было жаль мне лихого, отчаянного Кирюхина.

И еще больше загорелась жажда мести подлому врагу за Кирюхина, за печаль моих драгун, за все, за все.

По гробовому молчанию я чувствовал уже не впервые, что в такие минуты весь мой взвод, и безусый Рыков, и я, — сливаемся в одну мысль, в одну непобедимую силу, и дорого будет стоять врагу встреча с нами в такую минуту.

Начинало светать...

Наконец, впереди за версту или полторы выделился пятом фольварк, растянувшийся вправо улицей хибарок.

Кругом тихо. Ни одного выстрела не слышно.

«Что такое, — думал я, — опоздали, что ли, или сон и предчувствие обманули...»

Чувство недоверия начинало уже охватывать меня, но, указав на едва выделяющуюся из общей массы крайнюю халупу, стоявшую на отлете и бывшую покрупнее других, я опять уверенно махнул рукой.

Без шума рассыпались в обе стороны драгуны, окружая широким кольцом указанное им место.

Со мной остался только Глыба и драгун с телом Кирюхина.

Дав ему приказание ни в коем случае не бросить тело товарища, я с Глыбой спешили и пошли к фольварку... Чем ближе мы подходили, укрываясь за каждой кочкой, тем реже становился туман. Ветер притих и, подойдя шагов на триста, уже было можно различить немцев, которых было эскадрона два. Отведя коней шагов на сто вправо за пригорок и оставив их коноводам, немцы, окопавшись, окружили тесным кольцом крайнюю избу и залегли. Глыба, увидя это, не удержался и ругнул их за трусость сразиться в открытом бою...

— Ишь, сволочь трусливая... Не пора, ли ваше благородие, того и гляди, совсем светло станет, — закончил он красноречивую ругань...

Я взглянул на часы. Было около семи.

— Пора! — крикнул я и, вскочив на Рекса, что было силы дал три пронзительных свистка сиреной, которую знал весь эскадрон.

Почуя шпоры, Рекс летел, как вихрь и, уже почти подскакав к немцам, я услышал ответный свист Постольтникова...

Сердце замерло от гиканья со всех сторон летевших драгун.

Немцы опешили, приземились совсем, не поняв еще положения... Некоторые из них только протирали глаза, хватали ружья и открыли беспорядочную стрельбу, бросаясь из стороны в сторону... Но... поздно... как смерч влетели мои драгуны в ошеломленную массу и крошили направо и налево уже торжествовавшего было над Постольтниковым врага.

Моя шашка с размаху ударила что-то твердое и погрузилась в мякоть, брызнувшую мне в лицо...

Еще и еще... и вдруг, что-то горячее обожгло меня сначала в плечо, потом в шею... Мелькнула перед глазами рослая фигура Постольтникова... Приклады его драгун... в ушах прозвенел хруст разбиваемого черепа и дикий храп...

«Развороченные черепа» — пронеслось в голове и сразу за этим все смешалось, расплылось в бесцветное пятно и поплыло глубоко вниз, вместе со мной.

Первые слова, которые я услышал, очнувшись, это были слова Рыкова:

— Хоть убей меня, доктор, а я не понимаю... Скажи, пожалуйста, как у вас в медицине объясняют подобные штуки?

Наш молодой доктор покачал с видом знатока головой и попросил Рыкова говорить тише, чтобы не тревожить меня.

— Так-то оно так, — понизив голос, не отставал Рыков, — а я ведь тебя не ерунду спрашиваю... Целый день думаю,

что же это такое?

— Медицина, Аркадий Иванович, едва ли найдет объяснение этому... Просто странный случай, вот и все...

— Ничего нет странного, — перебил было я доктора, но увидя, что я проснулся, он замахал руками и закричал:

— Ни слова! Ни слова, не смейте говорить... Вы потеряли много крови, и вам необходим полный покой!..

— Да, я же ведь давно уж говорил ему, что он должен взять недельки две... — едва уловил я слова Рыкова и, кажется, заснул снова.

Примечания

Все включенные в антологию тексты публикуются в новой орфографии, с исправлением некоторых устаревших особенностей пунктуации и наиболее очевидных опечаток

А. Грин. Спокойная душа

Публикуется по: *Война (прежде, теперь и потом)*, 1915, № 54, сентябрь.

С. 7. ...*страны Бробдиньягов* – В более современном написании Бробдингнэг (*Brobdingnag*), страна великанов в «Путешествиях Гулливера» (1726-7) Д. Свифта.

А. Грин. Там или там

Впервые: *20-й век*, 1915, № 19, под псевд. А. Степанов.

В свете использования Грином этого псевдонима не исключено, что ему принадлежит и опубликованный в т. I антологии рассказ «Дело с белой птицей».

Н. Николаев. Каска

Впервые: *Лукоморье*, 1916, № 21, 21 мая.

С. 13. ...*à un homme distingué* – Здесь: порядочному человеку (*фр.*).

С. 15. *Mit Gott für Koenig und Vaterland* – С Богом за царя и отечество (*нем.*).

А. М. Барредж. Предел видений

Пер. впервые: *Новый журнал для всех*, 1915, № 9.

П. Къеза. Германский брат

Впервые: *La Lettura*, 1915, сентябрь, под назв. «*Il Fratello Tedesco*». Пер. впервые: *Огонек*, 1915, № 39, 27 сентября (10 октября).

А. Мэйчен. Лучники

Впервые: *The Evening News*, 1914, 29 сентября, под заг. «*The Bowmen*».

А. Мэйчен (также Мэчен, Мейчен, Мэкен (наст. имя Артур Ллевелин Джонс, 1863-1947) – английский писатель, журналист, мистик. Получил широкую известность как автор произведений фантастического жанра, начиная со скандального в свое время «Великого бога Пана» (1894).

Рассказ «Лучники», навеянный битвой при Монсе и отступлением британских экспедиционных сил (август 1914) приобрел в Англии колоссальную популярность; «свидетельства» о чудесным образом появившихся на поле боя божественных воинах широко обсуждались в прессе, религиозных и оккультных кругах и породили одну из самых известных легенд Первой мировой войны – легенду о т. наз. «Ангелах Монса». Подробнее см. в кн. Мэйчена *The Angels of Mons: The Bowmen and Other Legends of the War* (1915).

С. 38. *...разгрома, подобного Седану* – Битва при Седане (1 сент. 1870) во время Франко-прусской войны завершилась полным разгромом французских войск и пленением Наполеона III.

С. 39. *...на мотив боевой песни... Типперери* – Имеется в виду ставшая маршевой песней британской армии в годы Первой ми-

ровой войны песенка «Долог путь до Типперери», изначально написанная для мюзик-холла в 1912 г.

С. 30. *Прямо как на Сидней-стрит* – Ироническая отсылка к т. наз. «осаде на Сидней-стрит» – перестрелке в лондонском Ист-Энде в январе 1911 г. между силами армии и полиции и группой латышских анархистов.

С. 40. *...как на стрелковом поле в Бизли* – В Бизли с 1890 г. располагалось крупнейшее национальное гражданское стрельбище.

С. 40-41. *Длинный лук... азенкурских лучников* – В битве при Азенкуре (1415) в эпоху Столетней войны английские силы нанесли сокрушительное поражение французам благодаря применению стрелков, вооруженных длинными луками.

Изумительное пророчество Гете

Публикуется по: *Война (прежде, теперь и потом)*, 1916, № 107, сентябрь.

В период Первой мировой войны в союзной прессе публиковалось немало подобных «пророчеств», которые приписывались различным известным и знаменитым людям и предвещали поражение Германии в войне. См. в томе III антологии также заметки о предсказаниях французской прорицательницы мадам де Тэб.

С. Городецкий. Тайная правда

Впервые: *Огонек*, 1915, № 24, 14 (27) июня.

Один из мистических рассказов известного поэта, прозаика, переводчика, критика С. М. Городецкого (1884-1967), прозе которого не чужда и фантастика.

Ю. Зубовский. Чудо

Публикуется по: *Война (прежде, теперь и потом)*, 1916, № 71, январь.

Ю. Н. Зубовский (1890/92-1919) – прозаик, поэт. Участник Первой мировой войны. С 1906 г. широко публиковался в центральной и провинциальной периодике, литературных сб. «Аргонавты» и «Энергия» (1914). Автор сб. стихов «Из городского окна» (1911), кн. «Гримасы революции» (1917). Многие его произведения посвящены военной теме.

Л. Гумилевский. Капля крови

Впервые: *Модный свет*, 1915, № 8.

О. Л. Гумилевском и его произведениях времен Первой мировой войны см. прим. к тому I антологии.

П. Полуянов. Золотой крест

Впервые: *Лукоморье*, 1916, № 30, 23 июля.

Н. Михайлов. Капитан Петряев

Впервые: *Лукоморье*, 1916, № 18, 30 апреля.

Б. Лазаревский. Часы

Впервые: *Аргус*, 1914, № 21.

Б. А. Лазаревский (1871-1936) – беллетрист, мемуарист. Сын историка Украины А.М.Лазаревского. По окончании юридического

факультета Киевского университета (1897) служил в Севастополе, позднее во Владивостоке. С 1894 г. много печатался в периодике, до 1917 г. выпустил двумя изданиями 7-томное собр. сочинений. С 1920 г. продолжал лит. деятельность в эмиграции.

Р. Ивнев. Екатерининские часы

Впервые: *Лукоморье*, 1914, № 47.

Р. Ивнев (М. А. Ковалев, 1891-1981) – поэт, прозаик, переводчик, мемуарист. Уроженец Тифлиса, учился в Тифлисском кадетском корпусе. Выпускник юридического факультета Московского университета. Начинал как поэт-футурист (группа «Мезонин поэзии»), позднее имажинист. Во второй половине 1920-х-1931 гг. путешествовал по Европе, России, Дальнему Востоку как спецкор журн. *Огонек* и *Эхо* и газеты *Известия*. В годы Второй мировой войны работал в газ. *Боец РККА*. Автор ряда сб. стихотворений, романов, воспоминаний, пер. с грузинского и осетинского.

С. 93. ...<дело, и стала> – Пропуск в оригинальной публикации, восстановлен по смыслу.

В бессонные ночи...

Впервые: *Огонек*, 1915, № 5, 1 (14) февраля.

А. Оссендовский. Тень за окопом

Впервые: *Аргус*, 1915, № 1.

Биографические сведения об А. Оссендовском см. в томе I антологии.

Д. Дорин. Странный случай

Впервые: *Лукоморье*, 1914, № 21.

С. 110. ...чемоданов – «Чемодан» – в годы Первой мировой войны разговорное наименование крупнокалиберных снарядов.

С. 111. «Развороченные черепа»... – Имеется в виду изданный «Интуитивной Ассоциацией Эгофутуризм» во главе с И. Игнатьевым (Казанским) альманах (СПб., 1913).

С. 112. «А Марья стояла и стыла...» – Цит. из поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, Красный Нос» (1862-1864) с искажением имени героини («Дарья»).

Оглавление

А. Грин. Спокойная душа	6
А. Грин. Там или там	9
Н. Николаев. Каска	12
А. М. Барредж. Предел видений	22
П. Къеза. Германский брат	27
А. Мэйчен. Лучники	37
<i>Изумительное пророчество Гете...</i>	42
С. Городецкий. Тайная правда	43
Ю. Зубовский. Чудо	52
Л. Гумилевский. Капля крови	57
П. Полуянов. Золотой крест	63
<i>Таинственный скелет</i>	67
Н. Михайлов. Капитан Петряев	68
Б. Лазаревский. Часы	75
Р. Ивнев. Екатерининские часы	89
<i>В бессонные ночи...</i>	95
А. Оссендовский. Тень за окопом	96
Д. Дорин. Станный случай	109
Примечания	119

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.